

ГРИГОРИЙ ДАНИЛЕВСКИЙ

**КНЯЖНА
ТАРАКАНОВА
(СБОРНИК)**

Григорий Данилевский
Княжна Тараканова (сборник)

«Public Domain»

Данилевский Г. П.

Княжна Тараканова (сборник) / Г. П. Данилевский — «Public Domain»,

В книгу вошли наиболее известные произведения Григория Данилевского (1829—1890) – «Беглые в Новороссии» (1862), «Княжна Тараканова» (1883) и «Сожженная Москва» (1886).

Содержание

Беглые в Новороссии	5
Часть первая	5
I	5
II	14
III	19
IV	25
V	31
VI	35
VII	38
VIII	48
IX	54
Часть вторая	66
X	66
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Григорий Данилевский Княжна Тараканова (сборник)

Беглые в Новороссии

Часть первая Перелетные птицы

I Левенчук и Милороденко

В конце апреля, по пути к азовскому поморью, из старых украинских губерний пробирались глухими тропинками, оврагами и одинокими степными лесками двое пешеходов. Оба они были молоды, измождены усталостью, в потертой одежде и с палками в руках. Ночевали они под стогами, пили редко из колодцев, а более из не высохших еще снеговых озерков, ели что бог даст и торопились-торопились. Младший из них, тип чистого малоросса, немного мешковатый и вялый, шел как будто нехотя, пугливо оглядывался по сторонам, вздрагивал при малейшем звуке в степи, ранее старшего сворачивал в сторону, едва завидев на пути одинокий постоялый двор, хутор или проезжую смиренную тележку. Зато старший шел смело и даже весело. На нем был зеленый жилет с ключом на веревочке, серая барашковая шапка и ветхие плисовые шаровары. Он бойко говорил по-русски, хотя был родом малоросс.

– Ты, брат Хоринька, смотри у меня, не дури, не кручись: я уж в пятый раз бегаю. А что? – сходит! ровно, миленький, ничего. В первый раз-таки, как поймали и привели, скажу тебе, вспороли напорядках. Исправник был выжига, пятью червонцами не откупился. А зато места-то, места какие! Батюшки мои светы! Ты в резонт то ись не возьмешь, что это за край, эта поморская сторона! Уж недаром же я веду тебя туда, братец! Там тоже поселки есть, да не чета нашей треклятой «панщине»; сказано – волюшка: вот как птицы вольные, там и земля вольная! Разные тебе языки, сбоку сплошь донщина, а там наши города и море! Жизнь, жизнь, родимый! Денег заработаешь вдоволь, пачпортник тебе выхлопочут. Паны там не то, что у нас: всё ухари-молодцы и по-кавалерски тебя содержат. Значит, не то что у нас, по старым господским хуторам, в месячину тебе толоконце одно отпускают, значит дерть собачью, жито пополам с ячною мучицей по пуду на душу. А там тебе и сало, и масло постное греческое, прямо с порта, в богоспасенные дни. Ешь-кушай да трудись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены – и жинку тебе справят новую. Пять раз я бегал и пять раз все новых шамшуток доставал! Такое уже заведение было; коли ты лакомка – не нахвалишься, ей-богу!

Младший на эти слова тихо вздохнул, продолжая семенить босыми пятками, держа сапоги через плечо и изредка потирая тряпицей разболевшиеся от ветра глаза.

– Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харько! Эти твои оханья да вздохи – только одни пустяки. Ну, куда мы идем, а? Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла и камыши? Ну? Глуп ты есть, человеке, и только! Говорю тебе: приведу тебя в такие места, что ахнешь. Бос ты – обуют тебя, наг ты – оденут, гладен – накормят, пьяница – пить дадут, баб любишь – предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, Харитон!.. Кто ее не любит? Бежал я, братец ты мой, впервой сдуру, от блажи, понятия еще не имел, значит, о живодере Петилье, у которого после трижды в наймах бурлаком жил, – там такой шельма-

французик под Бердянском степи держал, – а и то, что со мною случилось! Вышел я, братец, наработавшись и намучившись вдоволь, в дождь да в студеную непогоду пробирался, как и мы теперь, свинными дорожками, по захолюстьям. Да как вышел я за Днепр, как повидел, что это уже не наша панская Украина, а вольная со светосоздания царина, значит, божья степь, где, куда ни глянешь, все поле да поле, ковыль расстилается да коршунье летает, – всполз я, избитый и усталый, на курган и поглядел этак вперед себя. Голова, брат, и закружилась, а глаза чуть не ослепли от свету, простора да сверканья всякого. И смотрел я, Хоринька, с кургана того от утра вплоть до вечера; упал и заплакал с радости. Так бы, кажись, и пошел на все четыре стороны разом... Волюшка, воля! Пстой, и ты не то заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку песню:

Эх ты, степь моя, степь бердянская!..
Жизнь постыла, неволя панская!

Веселый вожак, выйдя из глубокого оврага, по дну которого шел с товарищем, несмотря на усталость, звонко запел, потом вдруг засмеялся и замолчал.

– Харько! – сказал он, плетясь в гору.

– Что?

– Ты Левенчук по прозвищу?

– Левенчук.

– Ну, тебя же мы, как придем, окрестим иначе. Вот я Милороденко по прозвищу, там на хуторе, дома, значит, по ихней панской ревизии: а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский, и имени уж теперь ни в жисть не меняю; так меня все кавалеры там, значит, помещики, и знают, потому что пачпорта теперь уж мне не нужно, – и без него я знаю, как обойтись. А вот тебе пачпортик на первый раз нужен. Слушай, Харько...

– Что, Василь Иваныч? – грустно отозвался, вздыхая, новичок.

– Как придем мы на границу, до ногайских степей, береги ты меня, душа Хоринька. Покажись тебе. Непьющ я сызмальства, а как доберусь до воли – себя не помню: пять раз в шинке у Лысой Ганны пропивался, как собачий сын, до нитки. Береги меня, Харько, как свою душу; не давай мне сразу простору; ублажай меня, уговаривай, да поделикатней при людях, – потом, пожалуй, и свяжи, даже поколоти, обругай самую скверною бранью, а водки много не давай. Хоть просить буду, хоть бить тебя буду, не давай водки, не давай и денег.

Граница уж близко; вот тебе вся моя казна, – возьми и спрячь... Не силен я тут против соблазна... Ох, не силен! Сказано, воля!

Милороденко действительно остановился, присел на траву, снял сапог, достал оттуда в грязной ветошке какую-то сумку, вынул три замасленные ассигнации, посмотрел на них на свет с вниманием и как бы с сожалением, похлопал по ним и отдал их товарищу.

До желанных мест крайнего юга оставалось недалеко. Туда стремились новые товарищи, как стремятся и стремились искони, по неодолимому влечению, сотни и тысячи других, им подобных беглых русских людей, с перелетными от севера птицами, ища новой пищи и новой доли.

Два-три перехода – и они были наконец на рубеже того непочатого или мало еще початого края Новороссии, где Милороденко пророчил у господ кавалеров своему товарищу такое счастье и богатство, каких он и во сне не видывал.

Овраги и лесистые балки стали попадаться реже. Стоги, под которыми они ночевали и прятались на отдыхе от дождей и солнца, исчезали вовсе. Пошла сплошная, необозримая степь, заросшая густыми цветущими травами. Сел и хуторов не было видно вовсе. Кое-где только мелькали в стороне, чернея длинными шестами, со вздетыми на них пучками ковыля, одинокие овчарни. Да иной раз, пробираясь чуть видною в траве колеею проселка, натывались они на

пустынный колодезь, до того глубокий, что не было видно его дна, как туда ни смотри. Встречные чумацкие обозы они обходили, а к одиноким пахарям в степи приближались. Подойдут, особенно вечером, к огоньку, Милороденко поклонится, подсядет на корточки к маленькому костру, заговорит, посмеиваясь и смотря по своему обычаю в ладони, перебросит с руки на руку уголек, закурит трубочку, и сейчас начинаются у него расспросы и шутки.

– Что, от панов? Панские? – спросят его.

– Панские! – скажет и залется смехом Милороденко, передавая анекдоты о хуторских невзгодах.

Но Левенчук шел печально и мало принимал участия в веселых проказах и рассказах товарища.

В одном месте Милороденко, угощенный кем-то на перепутье, говорил товарищу, сильно вздыхая:

– Как будем мы идти близко к морю, там речка Мертвые Воды есть. Так-то! Впервые, как я убежал, жил я в косарской артели; шли мы с заработков от одного барина и наткнулись на злое дело. В другой артели не то косарь, не то черт его знает кто, зарезал нашего же, должно быть, беглого брата, старика лакея, а лакей этот шел к морю с дочкой, маленькою девочкой. Убивца, чтоб ему пусто стало, старику перехватил глотку сонному, деньги отнял и убежал. Были, говорят, у него деньги небольшие, дрянь. Так девочка привела отца, еще полуживого, на Мертвые Воды: тот стонал с перерезанным горлом, упал на пороге там какой-то хатки и, говорят, умер, а на месте не мог назвать, значит, убивцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчас сбежались, жалели; ходили смотреть и на девочку, и на умирающего, а у него были такие бакенбарды белые, так и торчали с телеги, как его повезли в город; сам худой да лысый. Страшный такой! Девочка не могла рассказать, откуда они убежали, и ее взял кто-то в приемыши.

В другом месте Милороденко беседовал:

– Да ты мне скажи, Харько: и вправду ты думал утопиться, как я тебя увидел на плотине и сманил? – Это было уже на последнем привале, ночью, в кустах дикого терновника, где они расположились понежиться уже повольнее и даже сами решились развести огонек.

Левенчук ничего не отвечал. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись.

– Вылез я из камыша, – продолжал, хохоча, веселый вожак, – вылез, смотрю – человек сидит над водоспуском, плачет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом... Ждал я, что будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тютю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?

– Что ж, дядько, – начал Левенчук, – скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» – «Воля ваша, говорю, пани». – «Да ты не знаешь, на ком?» – «Не знаю». – «На Варьке, на дочке Петриковны! хочешь?» – «Воля ваша!» – говорю, – а у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд, осенью, перед филипповками. Не знали мы и ни разу до свадьбы с Варькой, не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой наведывался. Повенчали нас, посадили за стол, а потом спать положили...

Харько помолчал.

– Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассмотрел я ее, правда, уж

через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка: «Дядько Харько! – кричит, – тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал их в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит у потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! – говорит шепотом, – это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша пани в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошаадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» – «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дернули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! барыня идет! мы стоим ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась... Машина пошла... Ох, дядько! И вспомнить страшно... Застонала она, что-то захрустело... Прибежала опять ко мне в степь та же соседка дочка. Орет-голосит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, говорю, где?» – «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется... Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную, в куски! Ох, дядюшка, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал... Отлили водою меня... Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своею дорогою, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист храбрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жару, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу... Сядешь; кругом ни души, – одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука... руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется; да и что сработаешь, ходючи без устали? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер! хата! – так и манят. Придешь, и все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом – и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько... боюсь! Не допытывай меня... Ну, что же?.. так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я... Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело: и спасибо тебе, Василь Иваныч, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе... Без руки лежит, вся потрошенная, кровавленная на панской молотилке... А собаке – собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо меня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозила отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.

– Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях или в какую косарскую артель, – добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал...

– Как же ты, дядюшка, бегал? – спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.

– А вот как я убежал впервые, – начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом, – моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее, – в лакеях, значит, обретался и по-господски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как, выходит, крупчатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила... Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

– Что ты? Ах, братец ты мой! – даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.

– Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! – продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко, – это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты... Просто, ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видались; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, сослать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из амбара. Были, были старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными господами и чиновниками и решили нас, братец, попросту, тоже повенчать. Да! чего ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин и заартачился. «Не дам, говорит, она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу весело, а сносно. По богомольям ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любовью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоты, что я и призадумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гу-гу; в сенях только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз завалишься в кабачок и закутишь с мещанами и с мужичьем; деньги были. Я вакштаф курил, говорю тебе, в карты в прифيرانец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. «Ты, говорит, Матрену нашу прежде любил, с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся!» Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бывать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее, да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить, – отпорол единожды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует... А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотики: там в модницах жила, и мы в бегах знали. Взминула меня опять волюшка. «Эх, – подумал я, – бес вас заberi, похувики да супы, да лежанье одно, да панские рассказы!» Стал я больно суров... У! натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.

– Что же, дядько, а она где теперь стала?

– Умерла, говорят, братец, в скорости, без меня! Ведь это давно было. Я холост уж вот четвертый год.

Возвращался к барину. Да уж в другой раз не поладили. Сильно я ему грубил и досаждал. Барин повестки обо мне разослал, как я бежал. Ловили меня, приводили снова раз к нему; жены я не застал уж тогда. Соседи советовали ему: «Дай вольную Васке!» Не дал! Ну, а я уж, душечка, подумай, покурил вакштафу, – домой-то, значит, к пану своему больше и не хотелось. Ну, с той поры по сей день, четвертый год, и состою в бегах. Детей, видишь ли, не произвел, не осталось. Родня женина срамится, должно быть, и вспомнить меня. Хоть и мне страшно вспомнить это их всех. Скверные, братец, люди! Да я-то теперь уж разбогатеть хочу, показать себя им всем, что я за человек! Что ж, что я холоп, так и не венчать? Пан вольной не дал, ну, и стеснил тем нас. А будто трудно было подмахнуть бумагу? Ну, я же им это покажу, и без них обойдемся! Разбогатею вот как! Сторона это такая, что только трудись, – золото лопатами тут все загребают...

Оба товарища на этом заснули. Ночью Левенчуку все казалось, будто что-то шелестело в степи, точно конь близко где-то силился оторваться от привязи, оторвался и, фыркая, все бегал впотмах. Раз он открыл глаза. Над ним висело темное-темное, усыпанное звездами небо. Голос какой-то птицы уныло охал вдали. Кузнечики трещали. А в мыслях его было смутно. Глаза горели, в висках стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали бедное, напуганное сердце.

Разбудили их песни жаворонков и все крылатое население степи, сверкавшей под каплями крупной утренней росы. Голубые туманы переливались вдали. Слева шли волнистые зеленые косогоры. Справа синело не то море, не то та же бесконечная, будто в гору идущая, степь. Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими картинами, а чем-то иным...

– Видишь эти пустыри? – допытывал Милороденко, – много я тут помыкался! В Москве теперь я пожил два года, а сколько уже здесь перемены. Вон, видишь, уж хуторок лепится над балкою, садик разводят, пруд мигом вырыли, мельницу-ветряк ставят, панские горницы строят. А два года назад тут одна степь была. Теперь и дорогу туда протоптали. Так и при запорожцах тут заимки занимали. Вся наша и земля тут старозаимочными хуторами стала. Наши предки с тобою тоже сюда пришли и закрепостились. Ну, а мы с тобою уж теперь вольные...

Миновав еще два-три пустынных аула, пешеходы вошли в область разнообразных новороссийских колоний и под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае шинка Лысой Ганны, которого так боялся Милороденко. В шинке и кругом шинка, близ байрака, сновали какие-то люди. Фургоны стояли, вола паслись, верблюды шагали к водопою. Мелькали татары в бараньих шапках. Двери в шинок были распахнуты настежь. Волынка и две скрипки брнчали у крыльца. Музыканты были слепые нищие. Старший из них затягивал под музыку песню: «Ой, фортуно, фортунонько! де до тебе стежка?» Милороденко ввел Левенчука в шинок, ткнул пальцем на бородатого жида-шинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!» – узнал двух-трех соседних знакомых и заметался.

– Всечестнейшая и преблагородная компания! – сказал он, – целуйте меня, я Александр Дамский и опять между вами. Лейба, шельма, водки!

– А! это ты, Дамский? – отозвались его приятели из посетителей Лейбы, все народ мрачный и бедовый. – Где был? откуда пожаловал?

– Из Киева, антихристы, из Киева; а был и в Москве, милочки. Дважды нажился в это время и дважды продулся! Да меж вами доносчиков нет?.. Тронь меня, я и ножом теперь пырну – не замай! жить хочется, жить давайте мне – я теперь вольный человек! Пришел это мимоходом к барину к своему на хутор, говорю: «Полно биться, будем мириться». А он, как положил, и всыпал мне двести. Я опять тягу.

Чего только не делал тут Милороденко. Помня зарок приятеля, Харько сперва было воспротивился просьбам его дать денег. Но уже Александр Дамский хлебнул горькухи и преобразился. Про розги и свидание с барином он врал для щегольства. Из веселого и кроткого

человека – это стал зверь: ноздри раздулись, лицо побледнело. Он свистал, прыгал, давал приятелям пинки, кричал: «Воля, воля! Я ведь вольный!»

– Ах ты хохол-свинопас! – крикнул он на всю хату Левенчуку. – Слышите, добрые люди, денег не дает! – И ни слова дальше не говоря, попотчевал спутника страшною затрешиною, дал пинка в спину, а потом в живот... Со сверкающими глазами, со скрежетом зубов и растрепанный, отнял он под вечер у перепуганного и избитого Харько все свои деньги и пустил пир во все заставки.

Левенчук ждал два дня, наконец выпросил у шинкаря кусок хлеба и пошел куда глаза глядят. Событие с ним никого не удивило. Его насмешливо обходили как новичка.

Приставши безмолвно к первой партии косарей, он обрадовался, что его ни о чем не спрашивали и ему ничего не говорили, и прокосил у какого-то колониста более недели. Потом его направили по соседству, к помещику, полковнику Панчуковскому.

Левенчук пошел указанною дорогой, скоро нашел на Мертвых Водах Панчуковского, увидел среди степи его новый красный кирпичный дом, кругом которого возводили высокую каменную ограду, а в стороне кирпичную с фронтонами и под железною крышею огромную овчарню. Вся усадьба, как видно, только что обзаводилась и напоминала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чем украинский заднепровский хутор. Левенчук пришел прямо к панскому крыльцу, где уже дожидались другие. Вышел господин молоденький, с белокурыми усиками, франтовато одетый.

– Здравствуйте, ребята – сказал он бойко, по-военному. – Много вас пришло?

– Шестьдесят, ваше высокоблагородие.

– И все больше нашего поля люди? – спросил и весело подмигнул полковник.

– Точно так.

Полковник, уверявший всех, что тот не хозяин, кто не вырос под крепкою командой и сам не выучился повелевать, умел-таки владеть приходящими к нему.

– Ну, милые люди, будьте же гостями! Завтра сенокос за речкой; у кого пачпорта нет, тому цена полтина ассигнациями в день; у кого есть – полтина серебром. Ступайте в контору, выпейте по чарке водки и пока марш на ток молотить!..

– Рады стараться! – гаркнули пришедшие и пошли в контору, хваля ласковость и бойкость умелого господина.

Левенчук в конторе записался на месяц. Взволнованный и все еще в тумане от небывалой новой жизни, он очутился с хозяйским цепом в руках на току, стал постукивать по снопам, глянул в сторону и обомлел... Милороденко! Он глазам своим не верил. В какой-то дырявой нищенской свитке, с бледным испитым лицом и потускнелыми глазами, брошенный в шинке Лысой Ганны неделю назад, его вожак и товарищ был уже тут и также тыкал цепом в снопы, в двух шагах от него. Улучив минуту, Харько поровнялся с ним и шепнул, подсмеиваясь и вместе пугливо посматривая на него:

– А что, дяденька, и вы тут?

– Тут, – отвечал тот со вздохом и, тихо повернувши тусклые и испитые глаза за клуню, кивнул туда головой. Оттуда неслись хлопанья кнута и крики. Кого-то секли, а полковник, громко считая удары, приговаривал в антрактах наставления, то сердясь, то весело причитывая прибаутки.

– Кого это, дядюшка? – спросил пугливо Левенчук.

– Товарища там нашего одного; я уgomонился, видишь ли, а тот и сегодня пьян напился, и барину здешнему нагрубил на работе, да и с приказчиком тут не поладил...

– Так и здесь, дядюшка, секут? Тут же мы на воле?

– Ох, и тут! порядки эти и здесь заводятся, видишь! Давно я тут не был; ну, без меня оно так и стало. Да ты на то не смотри: полковник добрый человек; отчего же и не посечь дурака, нашего брата? хуже, как в стан явит, а ты беглый!

– По чем же вы стали? – спросил Левенчук.

– По гривеннику...

– Отчего так мало?

– Среди недели, видишь ли, пришел и одежду еще хозяйскую занял. Что делать! И на это тут иные порядки на беглых стали. Прогорел я; ну, да авось поправимся скоро!

– Вы же толковали про мед да сало, дяденька? Где ж те горы и места, что кормят и поят вдоволь, и где та воля живет и сама промежду людьми ходит? И тут, как у нас на панщине!

– Э, подожди, не все разом! А пробовал, Хоринька, борщику с салцем или с свежей таранью? Тут поблизости и ловят эту рыбу. А?..

– Пробовал.

– А что, вкусна?

– Рыба вкусна, да и работа вкусна; у нас дома так рано не встают и поздно не ложатся. Тут все построже. Загляделся – и гонят. А рыба вкусна...

– То-то же, голубчик Хоринька! Да слушай: как бы опохмелиться? Откажись сегодня от порции своей для меня... Я тебя отблагодарю; а с завтрашнего дня уж я ни-ни... ни капли! Ведь ты знаешь, что я только тогда пью, как сюда на волю вырвусь! Прости ты и мои побои в шинке. Сказано: человек дорвется до безопасности, паном стал сам, ну, и пропадай душа!

Хоринька отказался от своей порции, и Милороденко опять повеселел, хотя цепом стучал по снопам до вечера молчаливо и никого не смешил и не озадачивал своими шутками.

Дни потекли незаметно. Вся почти артель полковника, человек до двести, состояла из беглых; они часто менялись, уменьшались в числе. Были из них и постоянные, нанятые по годам и более. Тут был значительный риск. Они жили в особых избах и землянках. Пуританские чистые нравы этого народа не допускали на работе никаких споров и ослушания. Все шло, как на ученье рекрут и на глазах самого свирепого командира. Ночевали летом работники под открытым небом, где-нибудь поблизости в овраге; прятались в току или в овчарном сарае. Становой, купленный здесь недешево, очевидно, нарочно сюда не заглядывал. Но жизнь беглой артели была вечною тревогою, вечным ожиданием. Вот налетят – в кандалы, по этапу – и марш обратно в постылые хутора, на работу!.. Расплачивались с бурлаками еженедельно по субботам. Зато в воскресенье было уже их время. Иные и тогда работали за половинную цену, другие расходились по соседним и дальним шинкам попить и побалагурить с наплывными же, беглыми девушками.

– Да! – говорил какой-то рябой в красной рубахе богатырь, также из беглых, нанявшийся у Панчуковского, – вы вот, ребята, спокойны: полковник – человек-огонь, и начальство свое, должно быть, для нас ублажает! А вот я наемни у немца за Мертвою молотил, слышим – звенит колокольчик. Немец вбежал, кричит: «Кто бродяга, марш в поле!» Мы, бурлаки, по-за скирдами да в ров. А становой за нами, всех перевязал... Насилу откупился немец: пятьдесят червонцев, говорят, дал. У моего пана на Ворскле я кучером был, уж тот за нас так не потрагился бы...

– Ну нет! – беседовал, в свой черед, покуривая трубочку, Милороденко, – как им, чиновникам, не разыскать нас, коли б сами паны не думали откупиться за нас! не то что людей с собаками, – собак людьми отыщут, коли захотят! Чутье уж у них такое! – Толпа захохотала.

– Как так? Расскажи...

– А вот как. Был у нас не тут-то, на вашей вольной земельке, – а у нас, в панской нашей Расее, был в уезде судья, отличный, распридобреющий и еще молодой человек, и жена у него писаная красавица; наехали раз к судье гости, значит, ближние и чужие дворяне, и в скорости пропала у него, после их съезда, пара лучших собак, – а он был завзятый охотник. Не было тогда судьи дома. Кто украл? – «Кто-нибудь из гостей, значит, побаловал!» – «Ну, красть дворянам не полагается!» – думала судыха; да, долго не думав, выследила через людей дорожку в соседнюю губернию, куда увели собак, велела запречь карету, села сама молодочка, да и покатила туда.

Уговорила тамошнего исправника, подъехала к тому господину, попросту, значит, укравшему собак, сама остановилась на селе, а исправник пошел к нему да и накрыл собак, в самой, то есть, спальне у пана, там – под его брачную кроватью; первое время он там держал собак – погони боялся. Взяла тогда барыня собак, посадила их с собою в каретку, отблагодарила исправника и поехала. Так-то!.. Не унесут тебя ни лисьи хвосты, ни собачьи пятки, коли тут тебе сами кавалеры не помогут... Этакая судыха, хоть кого найдет!

В первое же воскресенье Левенчуку удалось быть близ одной соседней приморской зажиточной слободки, в одинокой заимке, на песчаной косе, на свадьбе одной девочки, выходившей за неводчика, как видно, из беглых. Отец ее тоже был наплывной, из беглых. Левенчук не верил своим глазам. Невеста и ее подружки, соседние вольные крестьянские девушки, сидели в кисейных французских платьях. Молодая венчалась в шелковом канаусе и в наклке из бархатной синели. На свадебном столе стояли тарелки с конфетами из Таганрога. Гостям разносили кизлярское, а бродячие музыканты играли польку и кадрили из самоновейшей оперы Верди, завезенной прямо из Тосканы в Одессу.

– А-а? ведь все из вольных, либо из бурлаков! – шептал Милороденко очарованному Левенчуку, когда они протерлись в толпу смотреть на молодых, – посмотри, все девки сидят в перчатках, а молодой при часах!.. Это, друг, не чета нашей хохландии, где потом пахнет от каждой, братец, девки, как от козла!

На крыльце же, на свежем воздухе, в толпе усердных слушателей, какой-то тщедушный, загнанный старикашка рассказывал, какой у них в селе, возле Тамбова, генерал был: «Как подашь ему это, бывало, либо трубку в пыли, либо воды теплой напиток, – так и пустит в тебя чем попало, трубку, стакан ли, тарелку ли, что держит, так в рыло и угодит тебе. Мне морду раз окровавил так, что стыдно было в люди показаться!»

– Скоро воля будет, пачпортов не будет, – мрачно говорил другой, – не будет неволи, и пачпортов не будет.

– Ну да, в Нахичевани теперь и то их всякому продают! – откликнулся на это кто-то, – значит, воля близко!

– Э, братцы! – говорил возле долговязый парень из толпы, в нанковом жилете и пальто, купленном у какого-то жидка на торгу, – как затеял бежать я сюда, наша барыня будто подопрела; вот сущее слово, подопрела, точно снежок по весне подалась. Старосте чай стала давать, нам водку на работе! Да нет, теперь уж шабаш!.. Шабаш, не пойду!

Музыканты заливались. Скрипки весело пиликали. Разносился пунш с кизляркой. Пьяный соседский повар, накормив всю компанию, с важностью барина пыхтел и курил трубку из длинного армянского чубука, развалясь у крыльца, на травке.

– Медам, медам! пермете-с ангаже¹, – полька! – говорит кто-то, взяв смазливую горничную под руку и идя с нею сквозь толпу. Толпа на эти слова громко захохотала. Левенчук посмотрел – Милороденко.

– Ты и по-иностранным знаешь?

– Знаю! Супруга вывчила.

И долго шли танцы под вербами.

Месяц осветил двор хаты и ряд крыш слободки. Толпа прогуливалась. Девыцы хихикали. Милороденко, натапцывавшись польки, утирал пот с лица.

– Да вы бы, сударь, трепака ударили! – говорили ему зрители.

– Нельзя, я барином два года был: трепак – холуйское дело.

Поздно ночью он нашел товарища.

– Что, Харько, все о своей Варьке думаешь? Чего осовел? – свирепо спросил он Левенчука, – глянь, какое веселье! А ты все о Варьке своей, о бабе покойной убиваешься, – а?

¹ Сударыни, сударыни! позвольте-с пригласить (франц.).

– Нет, не о Варьке, а так – скучно!

– Глянь-ка на молодую: что за красивая бабенка! хочешь, и тебе сматерим? – спросил Милороденко. – Тут только мигни, можно!

– Нет, скучно мне, – ничто не манит! Да ты и смелее меня; а мне все как-то жутко...

– Ну, так поцелуемся!

И приятели обнялись.

– Так будем трудиться, чтоб разбогатеть; богат – значит, волен!

– Будем. Надо устроиться, а то все страшно – стало строже все...

– Спасибо за дружбу! – добавил Милороденко, – а за уступленную порцию – тогда, помнишь? – вдвое спасибо! Я не забуду тебе этого, Хоринька. Кликни только, встретимся ли, нет ли: удружу и я тебе! Помни! А теперь дам совет: хочешь на лиманы, на Дон, к морю?

– А что?

– Там скорее деньгу теперь зашибешь: там контрабанду теперь свозят.

– Нет, погоди; огляжусь прежде здесь... Ты смелее меня – ты дока на все...

– Ну, как знаешь. А за водку спасибо. Не забуду тебя. Я же, брат, прощай! Товарищи передали, зовут к неводам, в гирла донские. У меня, коли тихое житье, скучно; я уж попорченный. Мне давай такую волю, чтоб хмелем прошибало, чтоб дух от нее захватывало. Там и страшно, да зато же и заработок хороший. А мне уж пора и на старость что припасать; нору свою завести. Хоть бы так, зернышка какого, как зайцы на зиму припасают да суслики... Недаром же я теперь навеки бросил и барина, и всех своих! Хочу остепениться, земли после куплю.

II

Беглецы высшего полета

Прошло три года.

Была прелестная степная майская пора. По дикому и пустынному пути между Днепром и Мелитополем быстро скакал в колясочке, на четверне добрых лошадок, видный и веселый блондин в широкой соломенной шляпе, с бородкою и в светлом пикейном сюртучке. Его можно было принять за горожанина-афериста или помещика. Он рассматривал виды по сторонам дороги. Фу, какая глушь! Ногайско-татарская степь шла вправо и влево, изредка только волнуясь и склоняясь погорелыми от зноя травами, камышами и песчаными косами к синему, ярко горевшему морю. Здесь по приземистой траве мелькали высокие светло-желтые, синие и красные цветы, сплошь заливая собою необозримые поляны. Как бы вы ни смотрели, куда бы ни кинули напряженный взор – одни поля, голубые холмы у небосклона да мелкие, в огненной лазури потопленные, облачка. Кое-где только темнеют вдали, по сторонам, одинокие овчарни, откуда, завидя редкого путника, вдруг кинутся стаей громадные пастушьи собаки, темными черточками вытянутся по степи и вот-вот, кажется, настигают вас. Но расстояние так далеко, что они скоро остановятся и, свернувши свои косматые хвосты, возвращаются назад. Белыми пятнами ходят бесчисленные дрофы по диким, плугом не тронутым, пустырям. Коршуны высоко плавают в небе. Пестрые флегматические аисты сторонятся от дороги, чуть не задеваемые колесами, да широко раздается во все стороны вечный свист, стон и шорох степи.

– Самусь! это будто едет кто нам навстречу? – спросил барин кучера. Седой как лунь кучер наставил ладонь к глазам.

– Бог его знает, что оно такое! не то колонист на телеге, не то коров гонят! Тут его никак не разберешь, что оно в степи.

Скоро путник разглядел в мерцающей дали известный зеленый, на железных осях фургон колонистов и в нем ездока и возницу. Фургон остановился, путники что-то в нем поправляли.

– Что, обломались? – спросил господин из коляски, приблизясь к фургону.

– Чека соскочила, – ответил колонист, – с кем имею честь говорить?

– Полковник гвардии в отставке Владимир Алексеевич Панчуковский. А вы кто, позвольте узнать?

Колонист снял шапку и ответил, отчетливо выговаривая по-русски и улыбаясь:

– Колонист, Богдан Богданыч Шульцвейн, из-под Орехова, из колонии Граубинден, коли знаете; еду теперь из-за Ростова.

– Очень рад познакомиться. Не курите ли? Вот вам сигара, Богдан Богданыч, чистейшая кабанас...

– Нет, я вот сарептский; я нюхаю-с! Это – табачок очень тоже ароматный. Мы его сами и сеем в колониях наших-с.

– Что нового на море? Что хлеб?

– С пшеницей вяло, с льном крепко; сало идет вверх, фрахтовых судов мало, конторы жмутся.

– Ай! это не совсем хорошо!

Сели путники на травку, достали кое-какую закуску. Кучера тоже познакомились, закурили тютюн и повели беседу.

– Куда вы, собственно, ездили? – спросил небрежно Панчуковский, не смотря на простоватого, засаленного собеседника и покручивая хорошенькие русые усики. Он устал от дороги. У его товарища между тем, хотя уже пожилого человека, румяное полное лицо так и отливало густым молоком менонитской, некогда питавшей его, кровной коровы; фланелевая фуфайка была чистейшего табачного цвета, синяя куртка вся в пятнах, а синие штаны были засунуты в высокие купеческие сапоги, не без аромата дегтя.

– По делам-с, господин полковник, – известное дело, мы минуты свободной не имеем: либо дома мозолим руки, либо по степям оси трем на своих фургонах.

– Какие же у вас дела? – спросил еще небрежнее полковник. – Все, я думаю, насчет картофеля? «Картофель унд пантофель»², как мы говаривали еще в школе надзирателям из вашей братьи?

– Как какие? всякие. Мы народ торговый-с.

– Значит, и овощами торгуете, и салом, и табаком?

– Торгуем всем! Всем, либер герр³, всем!

Колонист встал помочь кучеру перепрячь лошадей. Полковник прилег на траве, поглядывая с улыбкою на уходившие пятки товарища, подкованные медными гвоздями, и помышляя: «Вот стадо баранов! Я думаю, женился в семнадцать лет, и жена его теперь тоже на овцу похожа, – ест индеек с медом, чулки даже во сне вяжет!»

– Что же у вас за дела, скажите? – опять спросил он колониста, подсмеиваясь.

– Да что, батюшка, – на днях купил я землю, вот что неподалеку от Николаева, близ поместья герцога Ангальт-Кеттен: съездил потом на Дон принанять степи для нагула овец, да не удалось – надо подождать, когда снимут сено; а теперь еду купить, коли придется, с торгов, в Николаеве наши бывшие батареи, то есть разный хлам с севастопольских батарей: дерево, обшивку, брусся, а пожалуй, и чугун. Наше дело коммерческое: что попадет под руку, всем торгуем. Ничем не пренебрегаем и времени не упускаем. Вы знаете нашу пословицу: морген, морген, унд ниht хёйте...

– ...Заген алле фауле лёйте?⁴ Как не знать! Но скажите, зачем вам еще степи за Доном? Где, позвольте, у вас собственная-то земля? Извините, я не расслышал...

² «Картофель и домашние туфли» (нем.).

³ Милейший (нем.).

⁴ Завтра, завтра, не сегодня... так ленивцы говорят (нем.).

– Мейне эйгене эрде⁵, моя собственная земля есть и под Граубинденом, и в других округах, да места стало уже нам, колонистам, мало. Так-то-с, не удивляйтесь! Наши кое-кто уже в Крыму ищут земель, на Амур послали депутатов присмотреться насчет занятия земель под колонии. Засуха – ну, и надо перегнать часть овцы на лето за Дон.

– Сколько же у вас овец? – спросил Панчуковский, пощипывая усики и смотря на это кроткое, румяное лицо, и зевнул. – Да не хотите ли масла, колбаски? Вот вам масло, вот хлеб! Я совсем устал от дороги. Не хотите ли? вот ножик. Я тоже все хлопочу, строюсь...

– Благодарю! – ответил кудрявый колонист, оправляя свои белокурые, с проседью уже, немецкие пейсы, выбивавшиеся из-под барашковой шапки, и принимаясь за масло, – у меня овцы довольно, о, очень довольно...

– Сколько же?

– У меня семьдесят пять тысяч голов овцы в разных местах-с...

Панчуковский приподнялся на локте.

– Что-о-о? Как-с? Сколько? Я не расслышал! – сказал он и заикнулся, подобно незабвенному Манилову, некогда пораженному сказочной профессией Чичикова по покупке мертвых душ.

– Семьдесят пять тысяч голов-с мериносов! – ответил опять смиренный собеседник и стал копаться в котомке, укладывая остатки провизии. – Но, мейн либер герр, как здесь ни хорошо, а скучновато; все в Германию тянет... Мы здесь чужие!

Дух захватило у Панчуковского. Мигом в его голове мелькнули соображения: «Если у него семьдесят пять тысяч мериносов, то сколько же он должен получить дохода? На худой конец по целковому с головы, итого семьдесят пять тысяч рублей серебром. Двести пятьдесят тысяч рублей ассигнациями, четверть миллиона в год!»

И он окинул взглядом колониста с головы до ног, как бы соображая, как такое засаленное существо могло владеть таким богатством, и прибавляя про себя: «А ведь все-таки, наживясь, уйдет в Германию! сколько волка ни корми, улизнет в лес...»

– Да вы не шутите? – сказал он и сел.

Колонист засмеялся. Белые зубы, напомнившие корову, так и осклабились до полных загорелых ушей.

– Нет, не шучу!

Панчуковский, летевший из Петербурга в степи за наживой, бросивший для барышей модный свет, щегольских товарищей, оперу, Невский проспект, французские водевили и комфорт всякого рода, – невольно вздохнул, придвинулся к собеседнику, вертевшему в грубых руках замасленную барашковую шапку, и сказал:

– Вы колонист, и я колонист. Мы оба Колумбы и Кортесы своего рода, или скорее бродяги и беглецы из родных мест за наживой. Мы колонизаторы дикого и безлюдного края. Нам тесно стало на родине, на севере – ну, мы и бежали сюда. Ведь так?

Колонист аккуратно и громко высморкался.

– Э! что тут говорить! Как ни говори, а немцы вам нужны. Вот, мы первые здесь овцеводы. Земля тут прежде гуляла, а теперь не гуляет. Наши колонии садами стали, мы вам леса разводим, оживляем ваши пустыни...

– Сколько же у вас земли? – допытывал полковник.

– Около тридцати тысяч десятин собственной; а то еще арендную у соседних ногойцев и у господ дворян. Фриц, достань мне табачку и табакерку! – крикнул он кучеру, – на дорогу свеженького подсыплем. Так-то-с!

Долговязый Фриц принес кожаный мешочек и стал сыпать табак в табакерку хозяина.

⁵ Моя собственная земля (нем.).

Колонист, между тем, еще присел, опять намазал масла на хлеб, присыпал зеленым сыром и сказал:

– А вы здешний? Зачем вы службу бросили? Вам уже скоро и генералом бы легко быть!

– Я тут тоже теперь кое-чем маклакую. Хутор устраиваю, землю купил, хлебопашество наймом веду. Ведь я тоже, повторяю вам, колонист, бродяга; бросил старый скучный север.

– Ну, так будем же знакомы. Мы одного поля ягода! Ваша правда-с! Только станет ли у вас столько-с охоты и труда? У меня и свои корабли теперь тут есть. Два года уже, как завел. Сам на своих судах и шерсть с своих овец прямо в Бельгию отправляю.

– Ах, как все это любопытно! Позвольте: у вас, значит, и свои конторы есть в азовских портах, в Бердянске, в Мариуполе, в Ростове?

– О нет! Это все я сам! – говорил колонист, чавкая и добродушно жуя хлеб с маслом. – Зачем нам конторы? Я поеду и отправлю хлеб или шерсть; потом опять поеду и приму заграничный груз. А то и моя жена поедет. О, у меня жена добрая!

– Как, и она? ваша жена тоже коммерцией занимается?

– Да; вы не верите? вот зимой из Николаева она мне на санках сама привезла сундук с золотом; я хлеб туда поставлял. Так вот, запрягла парочку, да с кучером, вот с этим самым Фрицем, моим племянником, и привезла. Зачем пересылать? Еще трата на почту...

Полковник посмотрел на Фрица: рыжий верзила тоже смеялся во весь рот, а колонист, как на товар, приглядывался на щегольской наряд красавца полковника, на его перстни, пикейный сюртучок, лаковые полусапожки, узорные чулки, белую соломенную шляпу и первейшей моды венский фаэтончик. Два давнишних противоположных полюса русских деловых людей, эти два лица сильно занимали друг друга.

– Вы отлично говорите по-русски, – сказал полковник, – давно ваша семья переселилась, или, так сказать, бежала из родной тесноты в Россию? Извините, это меня сильно занимает; повторяю вам снова, я тоже ваш собрат, переселенец, а по нашим русским понятиям – беглец! Мы теперь тоже за ум беремся, да уж не знаю, так ли? Что-то в нас много еще дворянского; может, оттого, что мы беглые по воле, с паспортами.

– Мой дед, видите ли, переселился при графе Сперанском, около сорока лет назад; мы пешком пришли сюда, с котомками, дед и отец мой несли старые саксонские свои сапоги за плечами, а отец мой после него еще двадцать пять лет был у нашего же земляка Фейна простым пастухом. Я тоже в юности-с долго был при стаде вашего Абазы. Земля, правду сказать, тут обетованная, не тронутая еще; многих еще она ждет. Раздолье, а не жизнь тут всякому; ленив только русский человек! Эх, гляньте, какая дичь, какие пустыри: бурьян, вечная целина, – ни косы, ни плуга не знала. Люблю я эти места: будто и бедные, а троньте эту землю – клад кладом.

Полковник спросил:

– Какой же секрет в том, что вы так скоро, так страшно разбогатели?

– Секрет? никакого секрета! Даже трудно сказать, как. Как? просто трудились сами, и все тут.

«Сами трудились! – подумал Панчуковский. – Врет, шельма, немец; должно быть, фальшивые ассигнации в землянках делали, да ловко и спускали!»

Просидели еще немного новые знакомцы. Степь молчала, вечерело. Не было слышно ни звука. Одни лошади позвякивали сбруей, да несло тютюнищем от новых друзей-кучеров.

– Я и не спросил вас, – сказал на прощанье Панчуковский, – вы ездили за Дон; были вы у нас на Мертвых Водах, за сороковой болгарскою колонией? Как понравился вам наш околоток? Можно ли ждать чего хорошего от этой местности?

– На Мертвых Водах? На Мертвых... Пойдите! Да! Точно, я там неделю назад ночевал... у священника... Пойдите, погодите...

– У отца Павладия?

– Так, так, у него именно! Что за славный, добрый старик! и какой начитанный! Нашего Шиллера знает; еще такая у него красивая воспитанница. Сам он ее грамоте учит, и она при мне читала и писала. Как же можно, – хорошие места!

– Как? воспитанница? – возразил, краснея, полковник, – что за странность! Это премило! Я живу от отца Павладия в семи верстах, а не знаю.

– О-о, полковник! так вы волокита! – засмеялся, влезая в фургон, колонист и погрозился. – Смотрите, напишу отцу Павладию и предупрежу его!

– Нет, я не о том; но меня удивило, как я живу так близко и ничего не знаю! В нашей глуши это диво. А вы будто бы и не охотник приударить за иною гребчихой, в поле?

– Э, фи! У меня своя жена красавица, полковник.

Новые знакомцы будто сконфузились и помолчали.

– До свидания, полковник.

– До свидания, герр Шульцвейн!

Лошади двинулись.

– Не забудьте и нас посетить: спросите хутор Новую Диканьку, на Мертвой.

– С удовольствием. А где он там?

Лошади колониста остановились. Полковник к нему добежал рысцой и рассказал, как к нему проехать.

– Есть у вас детки? – спросил полковник, став на подножку и свесясь к колонисту в фургон.

– Есть две дочери: одна замужем, а другая еще дитя.

– За кем же замужем ваша старшая дочь, герр Шульцвейн?

Колонист покачал головой и прищурил голубые глаза.

– Вы не ожидаете, я думаю?

– А что?

– За пастухом-с. Я выдал дочь мою за старшего моего чабана, Гейнриха Фердинанда Мюллера, и, либер герр, нахожу, что это – сущая пара. Отличный, добрый зять мне и знает свое дело; пастух и вместе овечий лекарь. Живут припеваючи, а дочка моя все двойни родит!

Полковник похлопал его по руке и по животу.

– А ваш Гейнрих откуда?

– Он подданный другого Гейнриха. Гейнриха тридцать четвертого, герцога крейц-шлейц-фон-лобен-штейнского: тесно им у герцога стало, он и переселился сюда.

– Не забудьте же хутор Новую Диканьку, недалеко от большой дороги, – сказал полковник, смеясь титулу тридцать четвертого Гейнриха крейц-шлейц-фон-лобен-штейнского и кланяясь вслед уезжавшему интересному фургону.

– Поклонитесь отцу Павладию от меня! – прибавил в свой черед, улыбаясь, колонист.

Пыль опять за клубилась по дороге.

– А ну, говори мне, скотина, что там за такая воспитанница живет у нашего попа, на Мертвой? – спросил кучера полковник Панчуковский.

Самуиллик ничего не ответил. Он был под влиянием вежливой беседы с Фрицем.

– Ну, что же ты молчишь, ракалия, а? Не тебе ли я поручал все разведать, разыскать? И в семи верстах, а?

Кучер приостановил слегка лошадей, снял шапку и обернулся. Глуповатое и старческое его лицо было осенено мучительной, тяжелой мыслью.

– Барин, увольте...

– Это что еще?

– Не могу...

– Что это? Ты уже, братец, рассуждать?

– Не будет никакого толку, ваше высокоблагородие, от этих ваших делов. Мало их через мои руки у вас перебывало! Эх, барин, предоставить-то не штука, да жалко после. А вы побаловали, да и взащей?

– Скверно, брат, и подло! не исполнил поручения...

Самуйлик еще что-то говорил, но полковник уже его не слушал. Лошади бежали снова вскачь. Бубенчики звенели. Картины по сторонам дороги мелькали. Вечерело.

А в голове полковника-фермера, полковника-коммерсанта, строились планы горячих, дерзких, небывалых еще на Руси, в среде его сословия, предприятий. То водопроводы он мыслил в каком-то городе затевать; то шумную аферу по закупке всего запаса какого-то хлеба в одном из портов думал сделать; то школу хотел где-то тайно открыть в столице и потом пустить о ней статью «от неизвестного» в газеты; то какому-то ученому заведению мыслил разом купить и поднести в дар большое собрание картин. Недавно, по соседству, сманивали его на выборы. «Нет, не те времена! – глубокомысленно ответил он, благодаря дворян, – теперь нам пора подумать и о материальном счастье на земле; оно, может быть, еще выше духовного!» Так он стал думать, прочтя что-то вроде этого в Токвиле. А теперь у него из головы еще не выходил невероятный колонист с его полумиллионными доходами, собственными кораблями по Азовскому морю и с такою же, вероятно, как он, румяною и белокурою супругой, возящей по степям на паре сундуки с золотом супруга. Задумался барин и о питомце священника... Панчуковский поспешал в свой хутор, Новую Диканьку, где на другое утро, на неизменный праздник дня своего рождения, он ожидал гостей.

III

Новозаимочный хутор Новая Диканька

На другой день к полковнику действительно съехалась куча гостей. Подъезжая к его красивой усадьбе, все приятно изумлялись, глядя на выставлявшие почти ежемесячно новые каменные и кирпичные постройки. «Вот ловкий господин! – говорили они. – А эта Новая Диканька – сушая американская ферма!» Новозаимочный хутор полковника в самом деле очень изменился с тех пор, как приходили в него наниматься бежавшие от старосветских хуторских невзгод, из старой Украины, приятели Левенчук и Милороденко. Хотя кругом его была по-прежнему одна скучная во многих отношениях степь, но благоустроенная заимка, колония гвардейского коммерсанта и земледеля, уже значительно пополнилась. На склоне пологого косогора стояла красивая усадьба. Двухэтажный, под красный кирпич, домик, во вкусе швейцарских или скорее французских деревенских мыз, глядел из-за высоких каменных стен, с крепкими дубовыми воротами. Часть обширного двора была занята молодым садом. Отличные конюшни, огромные амбары для ссыпки хлеба, сараи для овечьей шерсти и хозяйственных машин, флигель для дворни, – все было кирпичное, не штукатуренное еще, как и дом, и под железными крышами. Кухня, на голландский манер, с изразцовыми стенами и асфальтовым полом, была возле. Издалека и с большим трудом привезенные тополи были посажены вокруг дома, подросли и отлично скрадывали пустынную степную наружность остальной усадьбы. За домом в полуверсте был ток с хлебною клуней, а еще в стороне и ближе к дому – каменные сараи для овец и избы для батраков, то есть разного беглого люда. По двору, под стенами ограды, стояли разные земледельческие орудия, еще новые и свеженькие, покрашенные голубою или красною краскою: плужки, бороны, сеялки, конные грабли, веялки и большая новость в крае – жатвенные машины. В клуне, очевидно, работала уже паровая молотилка, потому что небольшая железная труба, как на фабриках, торчала оттуда, изредка венчаясь облачком серого дыма. Паровой локомобиль иногда подвозился к колодцу; к нему приправлялась мельница, и обозы с соседних хуторов мигом скоплялись возле за помолом. Близ овчарни был устроен над оврагом кирпичный завод, также с машиною для лепки кирпича. Ни реки, ни пруда не было

вблизи усадьбы. Вода доставалась из глубоких колодцев. Не было и деревни. Тут все шло наймом. Через два соседних оврага, разъединявших поля, были перекинuty красивые чугунные мостики. У конторы на столбе был укреплен колокол для зова рабочих.

Экипажи загромождали двор. В отворенные окна дома неслись громкие разговоры. Все двери были настежь. Слуги шныряли из кухни в дом и обратно. Гости, мужчины, сидели за утренним кофе в обширном угольном кабинете хозяина, на мягких диванах, между кучами цветов и шкафами с книгами. Тут были и старики, и молодые, в сюртуках и в байковых пальто или в простых домашних куртках. Иные сияли нежнее майского утра в своих пикейных сюртуках и белом, как снег, белье, и от них пахло духами, только что прибывшими через Таганрог из Марселя. Другие, кажется, никогда не мыли рук, не чесали головы, не стригли копытообразных ногтей, и от них пахло овцами и коровьим навозом. Сидела тут с длиннейшей трубкой и какая-то барыня, по фамилии мадам Щелкова, из казачек, вечно кашляющая, с загорелым лицом, как у сгонщика или мелкого рассыльного хлебной конторы, но в то же время в лентах и в шелковом платье. Она, очевидно, приехала с коротким визитом и попала в мужскую компанию в кабинет за делом, мяла платок в руках подобострастно и, утирая слезы, заглядывала всем в глаза, оправдываясь иногда, что трубку курит от какой-то болезни, все как будто торопилась кончить какие-то печальные дела и соображения, подсаживалась с богатырской трубкой то к одному, то к другому кружку, слушала со слезами на глазах толки о близкой будто бы эмансипации и повторяла: «Ах, боже мой! Ах, господи! А я-то гребли не кончила, свай не набила; хлеба сколько насеяла... Кому убирать его, кому убирать! пойдем мы по свету!» Читатель, разумеется, может знать, что эмансипация тогда еще не угрожала ни гребле, ни сваям, ни хлебу этой барыни. Остальной женский пол, очаровательные новороссийские дамочки, разодетые азиатскими бабочками, во французских кисеях и шелках, сидели в гостиной и ходили по зале. Сам хозяин, холостяк, удостоенный визитом дам, был сильно в духе. Ему все льстили, все ахали, рассматривая его дом, картины, хозяйство, машины. Все гуртом сходили на ток, в овчарни, и в рабочие избы. Барыня Щелкова, подоткнув шелковое лионское платье (она тоже не отставала от моды), также сходила и в овчарни и на ток, удивляясь полковнику и хваля его хозяйство. Карие глаза полковника сияли волей и счастьем; усики, загнутые кверху, были надушены. На всех он смотрел с довольством. Все были веселы.

– Мы, господа, беглые, то есть в европейском смысле – колонисты; это я вчера Шульцвейну говорил. Вы слышали про него?

На эту тему стал ораторствовать Панчуковский и говорил весь день.

Под общий шум разговоры свелись на хозяйство каждого, и все расхвастались. Тот превозносил своего чабана и свое стадо тонкорунных мериносов. Другой прославлял себя за громадное увеличение запашки. Третий уверял, что скупит в портах все бельгийское железо и повезет его в Полтаву и в Харьков в подрыв сибирскому. Другие говорили о машинах. «Нет! – говорил соседний арендатор, ныне уже русский помещик и душевладелец, а еще недавно эстляндский булочник, Адам Адамыч Швабер, – все эти машины чепуха! Лопнет котел, искра вылетит на скирд, и пропал целый ток хлеба. Где тут этим скотам еще ходить за паровыми котлами!» Кто-то хвастал собственной ловкостью, как он товарища надул баранами. И товарищ тут сам сидел. «Нет, что товарищи! – возражали другие, – в Петербурге слышно о преобразовании полиции. Телеграф сюда ведут. Ростов газом думают освещать. Французы едут сюда угольев искать. Газета, слышно, в Таганроге будет...» – «Как бы денег больше было, – заметил кто-то на это, – лучше всего было бы! Не из-за скуки же здешней жизни бросили мы с вами, господа, свои северные родные места!»

Уже под вечер к Панчуковскому подсел юноша – студент одесского лицея, учитель детей соседнего купца и вместе салотопенного заводчика Шутовкина.

– Владимир Алексеич!

– Что вам угодно?

– Я слышал о вашей доброте... Дайте мне триста целковых взаймы, пока до получки жалованья с моего хозяина. Я вам возвращу с благодарностью, через месяц.

– Зачем вам?

– До зарезу нужно. Мы с хозяином едем завтра после обеда в город. Брат его подбивает на риск. Хочется недаром проехаться в город, а проживя там с неделю, сделать одну аферу. Тут все аферируют. Говорят, лен падает в цене, фрахтовых судов мало, а дней через пять-восемь, думаю, поднимется. Ну, я хочу сорвать барыш. Тут вон дети даже ажиотируют; жидки-ребятишки намедни в Мелитополе подвезенные мешки с орехами на базаре купили и перепродали с барышом, в праздник... Неужели же нам все с книгами сидеть! Право. Помогите! как бы хотелось недаром тут пробывать на вакациях.

Панчуковского в это время кто-то позвал из другой комнаты.

– Извините! – сказал он студенту и вышел.

Студент сидел, рассматривая картины по стенам, потом подошел к роялю, открыл его и стал играть. Страстные звуки шопеновской мазурки огласили дом и двор, на месте которых еще пять-шесть лет назад гулял один пустынный украинский сирокко-суховея да качались громадные бурьяны. Студент, малоросс и музыкант в душе, играл с чувством, слегка склонив к клавишам Эрара свою белокурую красивую голову. Думал ли он о Шопене, о какой-нибудь недоступной красавице или о затеваемой афере со льном, – трудно было решить. В этом новом и странном крае как-то все это мешалось вместе.

Полковник воротился.

– Извольте, – сказал он опять студенту. – Я вам денег дам, но вы подождите, пока уедут другие гости. У меня есть к вам дело...

Студент встал, тряхнул волосами и, с чувством пожавши ему руку, сел опять играть. Его окружили дамы; он был их любимец.

– А правда ли, что на беглых облавы у нас везде скоро будут? – кто-то крикнул от карточного стола хозяину.

– На каких это, на нас? – спросил шутливо Панчуковский.

– Нет, на беспаспортных.

– Да, слышал я от Подкованцева, исправника: вас и меня это в особенности, Адам Адамович, касается! – сказал полковник арендатору Шваберу. – Тогда просто хоть лавочку закрывай. А я, признаюсь, мало верю в ожидаемое переселение народов с севера. И признаюсь, открыто передерживаю изредка беглую Русь! Все подличают против своих ближних исподтишка; отчего же мне открыто иной раз не купить станowego и не пользоваться бродягами?

Полковник тоже сел играть в банк, высыпав кучу золота. Взоры всех просияли. Поставлена первая карта; она дана. Банк занял все общество. Подошли и дамы. Они также приняли участие в азартной игре направо и налево. Одна капитанша, урожденная гречанка, подбоченившись, стала, вынула из колоды карту, подумала и поставила на нее свои брильянтовые серьги, а потом золотую брошь. Муж стоял возле и улыбался, ожидая, чем кончится счастье жены. Южные сердца бились горячо.

Обедали поздно. После обеда, перед вечером, все вошли во двор. За воротами сошлись батраки и батрачки поздравить полковника. Явилась скрипка. Разносили угощения. А полковник, растегнувшись и выказав свою шелковую канаусовую рубаху, пустился с негритянками, как он выражался, трепака плясать. Дамы хохотали. Мужчины хвалили его за особое умение быть популярным. Потом все пошли снова наверх и уселись на обширном балконе антресолей пить чай.

– Расскажите, ради бога, – спросил меланхолический студент, просивший денег у хозяина, – что за название этой речки здесь Мертвые Воды и как населялся этот околоток?

– Да, – ответил хозяин, – история заселения моей земли и вообще этих окрестностей любопытна. Мы читаем записки о колонизации Канады, Новой Зеландии, Перу и Колумбии, а

допытывался ли кто-нибудь до недавних событий заселения наших былых запорожских земель, нашего азовского поморья или хоть бы одного здешнего уезда? Это целая поэма во вкусе Купера и Вашингтона Ирвинга, да-с, не шутите с нами.

– Видите ли вон те холмы? Туда верст пятнадцать будет, да в противную сторону отсюда, до того вон кургана, столько же почти. Ну-с, эта вся земля, это немецкое-с почти великое герцогство, наша сказочная завоевательница Запорожья и Крыма, Екатерина, долго не думая, взяла да за каким-то завтраком и подарила одному беглому греческому митрополиту из Турции, упавшему перед нею с челобитной на колени. Ему была дана эта земля в подарок, с тем чтобы он тут устроил странноприимный дом и населил землю. Митрополит умер, ничего этого не сделав. Кто-то из здешних тогдашних чиновных провладел этою землею, без всякого права, лет двадцать, потом ее опять взяли в казну и велели продать с торгов. Покупщиков долго не являлось. Странствовала с прошениями об этой земле некоторое время в Петербург полусумасшедшая старушка, из переселенных сюда поблизости далматок, надоедала всем министрам, требуя отдачи этой земли, по завещанию Екатерины, ей – на устройство странноприимного дома. Ездил одна из степей в Петербург в одноколке, на маленькой пегашке, носившей имя Манички. Многие министры, посмеиваясь на безумные искательства старушки, знали эту Маничку и на просьбы ее хозяйки: «Коли не отдаете мне земли, то дайте хоть сена моей лошади!» – отпускали с своих сиятельных конюшен ей сена. Я, еще служа в гвардии, видел и старушку, и ее конька, уже совершенно дряхлых. Тогда земля эта была уже за другим, и старушка собиралась ехать в Европу просить заступничества других дворов. Двадцать пять лет назад, – говорю я, – эти степи, где еще укрывались тогда по камышам и балкам дикие лошади, были проданы с аукциона. Все четырнадцать тысяч десятин этой земли купил через поверенного один польский граф, богач, – он в нашей гвардии служил и я его знал, – сын виленского аристократа, чахоточный и никуда не выезжавший. За глаза куплена степь, снят план, составлен проект переселения туда крестьян из одной северной губернии. Эти насильные переселения были тогда в моде. Проект утвержден, и поверенный стал вести дело переселения. Выведены плугом черты громадной деревни, свезен материал, стали строиться превосходные избы, на все отпускались деньги щедрою рукою, а поверенный был питерский бюрократ и все любил вести на щегольскую ногу. Выхлопотал он у епархии и священника в будущую деревню. Это и есть наш вселюбезнейший отец Павладий, о котором мы с вами поведем речь особо! – прибавил Панчуковский, обращаясь к студенту, подмигивая и потирая его по колену.

– Любопытно! очень любопытно! – говорил студент, следя с балкона голубыми задумчивыми глазами за уходившею в вечерние сумерки окрестностью, о которой шла речь.

– Так моя поэма не скучна, господа?

– О нет, нет, кончайте, пожалуйста.

– Вот-с, – продолжал хозяин, – как уже избы стали кончать, а строения возводили все каменные, отец Павладий, тогда еще юноша, приехавший с молодою чернобровою супругой, и начал говорить поверенному: «Что вы делаете? строите село на безводной степи; отведите его версты за две влево, к балке; там ключи в овраге быют самородные, пруды можно устроить хорошие». – «Как можно, – говорит строитель, – село выведено на большую дорогу, и планы уже утверждены, мы выроем тут колодцы». – «Ну, как знаете, – говорил поп, – а я себе жилище буду строить у балки, да и церковь уж позвольте там построить; я буду там сад возле нее разводить». Церковь разрешено строить у балки, в видах обещания даром устроить сад, а люди, дескать, и за две версты дойдут в праздник. Церковь построена, построился и отец Павладий, кончена и деревня. Иначе не хотели переселять людей. Как можно! Надо, чтоб все было готово. Нанял строитель землекопов, выкопал колодцы, расплатился и уехал с докладом в Петербург, что все готово: даже в каждой хате стол стоит, образ привешен, вся утварь припасена и от замков на каждой двери ключ в конторе ждет хозяев. Тремстам семействам загадан выезд из России на новокупленную степь. Поехали переселенцы с киботками и скотом. Прибыли на место,

разведены по хатам. Отец Павладий молебен отслужил, все освятил, и зажили переселенцы. Вспахали под озимь, посеяли, а пока питались готовым запасом. Не нарадуется поверенный, пишет письмо в Петербург. Только и ударила гнилая, бесснежная зима. А еще до того всю осень народ прохворал. Что за притча! Кто ни напьется из колодца – и заболел. Да что долго говорить: до весны вымерла половина деревни, хватились переводить в другое место, запретили пить воду из колодцев, – куда вам! Эпидемияхватила такая, что к Петрову дню другого года из трехсот-то семейств, господ, осталась в живых одна кривая старуха.

Панчуковский помолчал и опять стал говорить:

– Да, все погибло и вымерло; умерли дети, старики, отцы и матери, умер и поверенный, умерла и жена отца Павладия. Некому было и могил копать! Как узнали об этом в Петербурге, ужас напал на владельца – отказался вовсе от этой земли и до конца жизни тут уже не был. Скоро он сам умер, и земля перешла к его племяннице. Остался один отец Павладий с церковью и молодым садом у балки. Развел он действительно хорошенький сад, даже рощу, устроил пруд. Соседние и дальние колонисты, бывшие еще без церквей, болгары, сербы и даже греки стали его прихожанами, а те-то опустелые дома бурлаки по камню растащили. И теперь там от былой деревни только видны плугом обведенные места дворов и улиц да крест огромный на кладбище стоит. Так легли переселенцы все до едина. Умерла скоро и последняя старуха. Ну-с, часть этой земли, именно пять тысяч десятин, я сперва взял у новой владелицы в аренду, а потом, как видите, купил, а другую арендуют по частям, как знаете, кто хочет. Чумаки-то (как была еще там большая дорога, о которой все хлопотал строитель, и были еще не заброшены роковые колодцы), видя страшный крест, и прозвали прежде безымянную, протекающую тут по соседству речку, а потом и всю здешнюю землю Мертвыми Водами. Вот почему наш околоток так и зовется, хотя, как видите, он цветет и красуется не хуже какого-нибудь Висконсина, Элебэмы или Порт-о-Пренса, населенных заморскими колонистами.

Студент встал, сошел вниз в залу, сел за рояль и начал играть чудный *marche funèbre*⁶ Шопена.

– Однако же как недурно он играет, – сказал, прислушиваясь, кто-то из гостей.

– Да, очень даровитый человек! – ответил другой голос из среды слушателей.

Помолчали минут с десять. Снизу летели пленительные звуки.

– Так у отца Павладия, должно быть, преавантажный теперь уголок? – спросил, громко чихнув, Швабер.

Сумерки уже так сгустились, что все на балконе сидели, почти не видя друг друга, будто на воздухе в облаках.

– Да, – ответил задумчиво Панчуковский, – место там прелестное, называется Святодухов Кут, на ключах; большой сад, душистая густая роща, пруд отличный; церковь вся в кустах сирени, акаций и в тополях, весной просто рай. Я, однако, редко, признаюсь, там бываю...

– Отчего же?

Панчуковский помолчал.

– Вы хотите знать, отчего?

– Да.

– Извольте: два медведя в одной берлоге не уживутся! Я аферист, и отец Павладий аферист; он хлопочет о наживе, и я: ну, мы и соперники – вот как две торговки шашлыком на базаре...

Слушатели рассмеялись.

– Хороши соперники! Вы ворочаете чуть не сотнями тысяч, а это бедняк, сельский священник...

– Да! посмотрите, что это за священник!

⁶ Похоронный марш (*фр.*).

– А что у него за воспитанница там есть? – спросил, сопя и зевая, Швабер.

– Право, не знаю! – ответил рассеянно полковник, – я три года уже у него не был, поссорился на одном деле. Разве подросла в это время. А человек он добрый и умный, корыстолюбив только, как латинский поп.

– Да будто уже нашим и денег не нужно?

– Это еще вопрос...

– А где ваша кухарочка? – спросил опять хозяина, сходя с лестницы, тяжеловатый Швабер и толкнул его, шутя, под бок. В это время двор, крыльцо и ограда осветились разноцветными фонарями импровизированной иллюминации.

– О! бог знает, что вы вспомнили, камрад, – кухарку! Я ее прогнал давно взашей. Пожалуйста, этого не вспоминайте. Теперь у меня на уме не пустяки. Я тысячу десятин пшеницы на это лето засеял и думаю убирать наймом; это не шутка!

Начались танцы. После ужина все стали разъезжаться. Кучера дремали. Месяца не было видно, но ясная звездная ночь делала поездку безопасною. Уже многие юноши уехали. Дамы оставили Новую Диканьку, превознося хозяина за угощение. Уехали и старики. А на крыльце у подъезда шла крупная словесная перепалка двух немецких соотчичей, арендатора Адама Адамовича Швабера и колониста, конского заводчика Карла Ивановича Вебера. Оба немца были после ужина сильно выпивши и спорили по-русски о достоинствах своего родича, богача Шульцвейна. Вебер говорил, что слава и гордость их колоний, Богдан Богданыч Шульцвейн, скоро будет русским графом и князем и всю губернию заберет в руки; что ему и орден какой-то прислали и что он в своей колонии затевает гимназию и газету. А Швабер кричал во все горло: «Врешь, врешь! Шульцвейн шельма, и ты шельма! Такого осла хвалить. Он грубиян и ты эзель⁷! Врешь! А-а! Так ты хвалить? у него табачная голова и полный карман мошенничества: он севастопольский воловий парк обокрал! Ты, Карл, ты, Карлуша, можешь надувать русских; а для нас – слушай, брат, вот тебе кулак, а вот и другой, – он овечья голова, шафс-копф, и больше ничего! Молчать! Ну!»

Зрители этого петушьего боя наконец разняли спор-щиков, уложили каждого порознь в его зеленый, с клеенчатым верхом, немецкий фургон и погнали кучеров. Но взъерошенные и красные, как после бани, бюргеры Швабер и Вебер, едучи рядом за воротами, еще долго ругались из фургонов и где-то даже будто бы опять на дороге выходили на траву, спорили и ругались и даже хватали друг друга за виски. Так говорила молва.

Уехали все, остались одни: хозяин и студент.

– Погодите, оставьте вашу фуражку, – сказал Панчуковский.

– Владимир Алексеевич, надо ехать. Ведь я верхом, а до нашей усадьбы двадцать верст будет.

– Да разве завтра у вас уроки? кажется, завтра праздник!

– Но ведь я вам сказал, что мы после обеда едем в город...

– Ах, извините, точно: сейчас я вам дам деньги; только остались бы вы у меня переночевать, – а утром и доедете...

– Нельзя, право нельзя: хозяин наш человек строгий, из донских; вы их знаете?

– Как не знать! Скажите, однако, это он, что ли, гувернантку свою, московскую институтку, поколотил, и она пешком ушла к ногайцам, лет пять назад?

– Кажется... Может быть... я, право, не знаю!..

– О, еще скрываете! Он с кнутом гнал за нею, с мезонина в сад, и расшвырял по полю все ее книги и вещи; говорят, не сдалась на его искания! Ну, да не в том дело; пойдете в кабинет.

Они пошли.

⁷ Осел (нем.).

– Извините, ваше имя и отчество?

– Михайлов, Иван Аполлоныч, – ответил, поклонясь, хорошенький студент.

– Ну-с, Иван Аполлоныч, я вам триста рублей дам, а вы мне сослужите службу!

Михайлов поклонился.

– Я бы вам сам дал денег; и вот они, – недалеко за ними ходить! Но вот в чем дело: вы слышали сегодня о священнике, отце Павладии? У него есть воспитанница, – понимаете, друг мой? У меня на нее есть виды, – поняли?

Студент покраснел.

– Ну-с, вы к нему, под предлогом займа денег, и поезжайте; он падок к хорошим процентам и даст.

– Но он меня не знает.

– Я напишу поручительство.

– Отчего же вам самим к нему не съездить, насчет этой-то его девочки, если уже вы...

Студент не договорил и опять покраснел.

– Нельзя; я уже имел с ним ссору за одну девочку, а на людей моих плоха надежда. Они мне помогут после. А тут нужно только узнать, что у него за приемыш этот и стоит ли она внимания? Вы как-нибудь устройте так, чтобы ее увидеть; если нужно, то и заночуйте; да уж лучше всего поезжайте сейчас. Дело денежное, само себя оправдывает.

– А далеко это?

– Да верст семь будет, девять, не больше.

Студент посмотрел на часы.

– Теперь уже девятый час, не поздно ли будет?

– Чтоб ехать сейчас? и отлично, поезжайте! Я вам дам своего коня, а ваш отдохнет. Отец Павладий много читает и поздно ложится спать. Поезжайте. Только вы оттуда ко мне заверните и разбудите меня, хоть за полночь будет. Я положусь на ваш вкус, только посмотрите.

– Извольте: очень благодарен, и если увижу вашу незнакомку, то к свету еще ворочусь к хозяину, а вам все расскажу в подробности.

Письмо полковником к священнику написано, лошадь оседлана, дорогу рассказали, и при взошедшем месяце легкоподъемный юноша поскакал тропинкой в Святодухов Кут. Будущий коммерсант не думал об усталости, не помышлял, что в одну ночь, с поездкой за деньгами, ему придется сделать верхом верст за тридцать. Он скакал и скакал, рисуясь перебегающею тенью по росистым холмам и ложинкам.

IV

Святодухов Кут, жилище священника

Скоро мелькнул перед студентом овраг, перешедший потом в глубокую балку, лесок, золотая маковка церкви и белый домик на склоне оврага. Повеяло сыростью от невидимого пруда. Высокий плетень, утыканный терновником, окружал домик... Все здесь как будто уже спало, когда подъехал студент; но скоро свет мелькнул из низенького, кустами и деревьями окутанного домика. На топот коня сам священник показался на крыльце и со свечкой встретил Михайлова.

– Здравствуйте; от кого вы?

– От Панчуковского, с письмом.

– От Панчуковского? Пожалуйста!

– А я думал, что вы уже спите.

– О нет, вечер отличный, я только что воротился с поля, гулял. Вы кто-с?

– Студент одесского лицея Михайлов. Вот вам письмо Владимира Алексеича.

Вошли в комнату. Священник прочел письмо, посмотрел на гостя, потом опять на письмо и сказал: «Очень хорошо-с!» – и засуетился. Зажег в главном углу приемной комнаты, у лампы перед киотом, другую свечку, поставил на стол и вышел. Студент стал осматривать комнату. Груды книг лежали по дивану, стульям и на лежанке. К обыкновенной смеси запаха ладана и воска, встречающей у нас каждого в жилище священника, здесь примешивался еще чудный запах белых акаций, склонившихся цветущими ветвями с надворья к раскрытому окну. И вдруг, в темноте кустов, у самого уха гостя загремел так чудно и дерзко соловей, что у Михайлова сердце екнуло. Священник вошел, принес табаку для папирос и бумаги и, сказав: «А? каково-с поет?» – поставил и опять ушел. Вслед за ним также неожиданно вошла в комнату статная, будто еще не совсем на возрасте, но уже совершенно развитая девушка с подносом в руках и поставила на стол чашки к чаю. Она ушла. Михайлов успел разглядеть ее полные руки, сочные губы и темные брови, белое лицо, подобранные венком русые косы и красную ситцевую юбку. Звякая монистами, она гордо и смело повернулась, гордо взглянула на гостя, сдвинула густые брови и ушла, помахивая полными круглыми локтями.

«Верно она!» – подумал новый Лепорелло и с замирающим сердцем сел в углу, осматривая комнату. Все студенту казалось таинственным. Вошел священник и, тихо шелестя рясою, также сел. Студент рассмотрел его больше: это оказался совершенно круглый, приземистый и тучный старичок с отеком лицом, красноватой мясистой лысиной, едва прикрытою прядями седых волос, с утлою косичкой, перевязанною полинялою ленточкой, и в камлотовом сером подряснике, под гарусным стареньким кушаком. Он сел в кресло против Михайлова и посмотрел на него.

– Вы здешний? – спросил он с улыбкой.

– Нет, я родом из Одессы, на летних кондициях...

– У купца Шутовкина?

– Точно так-с. А вы почему знаете?

– Слышал, про вас говорили мне, что вы способны на все руки-с...

Михайлов покраснел.

– Вы давно знакомы с господином Панчуковским?

– Второй раз его вижу; я с ним познакомился у нашего хозяина.

– А! извольте-с. Деньги я вам сейчас дам. Он пишет, что ручается за вас и что вы завтра же рано едете в город. На что же это вам деньги?

– На одно нужное дело. Я хотел бы на них кое-что заработать...

Священник встал и, сказав за дверь: «Оксана, скорей самоварчик!» – опять тихо сел.

– Извините; я вижу, вы действительно торопитесь; но позвольте мне, дикарю, за одолжение вас деньгами, хотя полчаса побеседовать с вами. Что нового-с в свете, в литературе? Вы давно из Одессы? Мы так редко видим людей, способных носить имя людское...

– Месяц назад.

Священник взял пачку книг с дивана.

– Вы не думайте, чтоб мы, здешние священники, были чужды света. Вот вам Гоголь, вот Пушкин: на последние деньги справил-с. Вот и «Космос» Гумбольдта. Скучновато в степи, особенно зимою. Мы и коротаем время, чем можем. Позвольте-с... Вы читали изданную за границей книгу о сельском духовенстве в России?

Студент хотел удержаться, но сильно покраснел. «Каков? – подумал он с досадой, – живет в глуши, а все знает; ну, что же? и я недюжинный человек! Но, впрочем, об этой-то книге я где-то что-то слышал; кажется, нападки на духовных!» И он бойко ответил:

– О, как же! Читал. Галиматъя, пасквиль на Россию, вздорная брань!..

Священник тихо крикнул, придвинулся к столу и, перебирая листики журналов, ласково возразил:

– Э нет, молодой человек! не грешите! что пользы всем нам обманывать друг друга? Много правды в этой беспощадной и резкой книге. Верите ли, я плакал, читая ее. Ни «Коперфилд» Диккенса, ни «Шинель» Гоголя, над чем я зачитывался уже теперь, на старости лет, – ничто меня так не трогало... Поднят и наш забытый вопрос!.. Пора, о давно-с пора!

Опять вошла девушка, внесла самовар, сурово взглянула на стол, степенно все уставила; но при плавном выходе ее студенту показалось, что она уже ласковее, хотя украдкой, смотрит на него из-под напряженных густых бровей.

«Ишь, плутовка! – подумал он, – а какая степенница! таковы ведь все здешние степнячки-поморянки! Да какая же она хорошенькая! Что за стан, что за плечи и брови! а щеки – как персики в пушку!»

– О, – говорил между тем, ахая и неподдельно увлекаясь, священник, подслеповатыми, припухшими глазами ища на столе ложечку, тыкая ее дрожащими пальцами в сахарницу, настаивая чай и торопливо его разливая, – что я испытал, читая эту книгу! Мое детство, мое загнанное и грязное детство, порочная и праздная юность, мои жалкие товарищи, общий обман, насилия и невежество, – все мелькнуло вновь передо мною! Вы читали в наших журналах ответы?

Михайлов покраснел, уже как рак, взмахнул неловко волосами и на этот раз признался, что не читал. Священник вздохнул.

– Жаль, молодой человек, очень жаль; учитесь! Кто у вас профессора?

Студент ответил.

– Нет у меня ни детей, ни жены! всех я тут похоронил, как вымерла наша колония. Слышали? – спросил печально отец Павладий.

– Да, слышал; говорят, ужасы произошли в вашей колонии! правда?

– У! жутко приходилось тогда; да господь вынес. Извольте, извольте, однако, получить-с деньги!..

И он подал ему из шкатулки деньги.

Стали пить чай. Оксана прислуживала чаще и долее не выходила из комнаты.

– Гм! позвольте... Пуркуа регарде? пуркуа⁸ на нее? – спросил вдруг священник студента, оставя чай и неожиданно заговорив коверканным французским языком.

– Мне ли не смотреть на таких хорошеньких девушек! – ответил несколько обидчиво и также по-французски студент. – Вы забываете, что мне не шестьдесят лет.

– Оксана, выйди! – резко сказал Павладий и, когда она вышла, обратился к Михайлову. Священник был бледен и встревожен.

– Извините меня и за невежливый вопрос, и за непрошеную беседу на языке, который я так плохо и самоучкой кое для каких книжек изучил, но этот вопрос сорвался у меня невольно. Скажите... извините меня... вам ничего не говорил на этот счет полковник?

– Нет, ничего. Вот вопрос! Даже обидно...

– Ах, боже мой! Я верю вам, верю! Господи!.. Но позвольте, вы так молоды еще, так мало еще знакомы с Владимиром Алексеичем. Остерегайтесь его. Вы не поверите, что это за опасный человек. Он богат, счастлив по-своему, всеми любим; все ему завидуют. Но что за извращенный это человек! Я с ним, открою вам, сперва поссорился за одну соблазненную им колонистку, мою прихожанку; года три назад я опять повел с ним войну за украденную им неподалеку, из дворни градоначальника, кухарку-мещанку. И откуда он сорвался? Точно зверь с цепи сюда явился. Не пропустит ни одной девушки на гребовице или при уборке хлеба. Поведите ли, суший разбойник! Как кого увидел, наметил, так и соблазнил. Это какая-то чума в своем роде. А какой тихий, светский: воды не замутит, говорит, как девушка! И между тем, тут в околоте нет мужа, брата, отца, которые бы на него не плакались. Он на меня первое время

⁸ Почему смотрите? почему (*искажен. франц.*).

страх наводил. И все ему как с гуся вода! Много на него выходит жалоб. Заманит, а потом еще иной раз со срамом и прогонит. Поверите ли, эту последнюю мешчанку держал более года, водил ее в шелках, в кабриолете в город пускал, какое-то тоже ее побочное дитя в кафтанчиках водил, а потом взял да и дал ей на дорогу сто розог... Это он называет: выпить бутылку и об пол! Изверг, ей-богу-с, изверг! Наезжают они теперь из России, как коршунье, в наши места; кидаются в аферы, спекулируют... Это еще бы ничего, да бога забывают-с, вертепы разврата позаводили! Что французские конторщики в портовых городах, что наши спекулянты-помещики здесь! А еще гвардии полковник!.. Срам!..

Михайлов засмеялся.

– Вот, право, не ожидал, а какой порядочный кажется человек!

– Не ожидали? Смейтесь себе, смейтесь! А это сущий разбойник, ей-богу! Я и сам, коли хотите знать, его люблю за ум и за даровитость. До тридцати лет получил чин полковника гвардии; повеяло новыми стремлениями, вышел в отставку, стал хозяйничать – ему повезло. Тут бы себя поделнее обставить, а он развратничает, как последний купчишка на уездной ярмарке, как армейский юнкеришка с цыганками! Тьфу! За этим ли он ехал из столицы в такую глушь? Да, вы меня спросили о моем ремесле...

– Да-с, прехорошенькая! уж извините, попросту сказал...

– Эх, вам все красота на уме! А ее, скажу вам, судьба прегорькая. Должно быть, отец ее был из беглых, из помещичьих лакеев. Шла она с ним из России сюда; на ночлеге, в степи, отцу ее какой-то бродяга, не то косарь, не то дворовый бурлак, перехватил ножом глотку. Прибежал он с нею сюда ко мне во двор, истекая кровью, и упал у меня, бедняк, на пороге. От умиравшего только слышали какое-то имя; его отвезли в Таганрог; тогда уже наступила война, госпитали смешались, и я не мог добиться толку, где умер старик и умер ли? Да не мог же он вылечиться. Бумаг при нем не было; ну, его, верно, и похоронили так, без отметки. С той поры я ее и вскормил; сам учил кое-чему и пока держу ее в услужении. Да надобно свезти в город, отдать хоть сестре моей: все-таки там будет спокойнее. А то тут пока еще замуж выйдет, хорошего человека найдет, – не совсем безопасно. Сказано: выставь сахарок такой на окне, как раз мухи облепят: хе-хе!.. Уж извините меня, молодой человек!

И отец Павладий сам от души засмеялся, помахивая старою лысою головкой и моргая красноватыми, припухшими глазками.

– Вы же вон первый заметили ее! – продолжал он, – а жаль девку; точно добрая. Моя дьячиха только за нею и приглядывает. Да извините, что вас задержал: скучновато на безлюдье. Вы получили деньги, напишите же теперь расписку. Да уж, извините, включите, что на месяц там, по первое, положим, июля, по три процента, – вы их и включите в капитал.

Михайлов поднял брови.

– Что вы, отец Павладий! по три на месяц?

– Да уж извините. У нас уж так. Я хлопочу о церкви; но хлопочу, пожалуй, еще больше и о себе; жалованье нам плохое, страна тут коммерческая, время горячее, деньги нужны всякому, ну, и риск бывает. Я и даю на риск; ведь я человек также, или нет? А вы, верно, тоже на дело берете?

– На дело.

– Ну, и рассчитайте: стоит ли брать? Тогда и берите. А я свое сказал; так-то-с.

Священник, держа деньги, смотрел на студента.

Михайлов, недолго думая, взял деньги, как берут их все молодые кандидаты в аферисты, не соображая даже, выручит ли он ими хоть заемные проценты. Он быстро отмахал священнику расписку. Отец Павладий надел очки, прочел два раза расписку вслух, попросил еще написать сбоку словами, а не одними цифрами, что взято триста и девять рублей серебром, и простился с гостем. Михайлов вышел. Серый конь Панчуковского быстро домчал его в Новую Диканьку.

– Ну что? – спросил Панчуковский, с газетой и с сигарой лежа на постели. – Я вас под-
ждал!

И он протянул ему небрежно руку.

– Дал поп, да за то и проценты взял, по три на один месяц...

Полковник громко расхохотался на весь дом.

– Ну, так я и знал! Ай да попик! Современный! Это уж, извините, он тоже не отсталый
человек; и, я думаю, книгами хвастал, а?

– Хвастал, – робко сказал Михайлов.

Захохотал еще громче прежнего полковник, и от его смеха огласились все комнаты
пустого холостого дома.

Поговорили еще. Маятник одиноко стучал где-то из нижних комнат.

– Итак, покорнейше вас благодарю, Владимир Алексеевич, за ручательство.

– Не стоит благодарности. Что за пустяки! Ну-с, а насчет нашей красавицы?

– Да, – сказал студент, вертя фуражку, – вы поручили узнать насчет той сироты?

– Ну, что же-с?

– Она дочь убитого беглого.

– Беглого! А! Значит, она отцу Павладию принадлежит так же, как и моему, положим,
Абдулке...

Студент рассказал подробно историю убийства ее отца.

– Ее взял священник, когда отца ее зарезали, и с тех пор она у него в услужении. Он ее
грамоте стал учить два года назад; читать и писать выучил и очень любит.

Панчуковский зевнул.

– Он, должно быть, задумал выгоднее выдать ее замуж, выкуп взять...

– Девочка прехорошенькая! – твердил студент с чувством, – просто прелесть! Я редко
встречал такие лица – и строгие, и соблазнительно-увлекающие! Полная, пышная, здоровая...
Знаете, этот бьющий в глаза пыл здоровья... Знаете...

– Человек, лошадь барину! – крикнул Панчуковский с постели. – Вы когда же опять у
меня будете?

– Когда деньги привезу отдавать.

«Жди теперь тебя!» – подумал полковник и любезно простился с гостем.

Студент опять поскакал по стемневшей степи. Близились утро. Было уже перед рассве-
том.

Между тем как студент еще выходил от священника, с ним на пороге впотьмах столкнулся
какой-то человек, не то мещанин, не то рядчик из города, статный малый, с узлом в руках,
который он, очевидно, нес к священнику. Когда отец Павладий проводил гостя и, не затворяя
за собою двери, вошел и остановился в освещенной еще по-парадному комнате, пришедший
с узлом ступил из сеней в приемную.

– А! Левенчук! откуда бог несет? Что это?

Пришедший поклонился в пояс.

– Это, батюшка, уж примите; это вам свежая рыба с тони да часть дичинки: сам стрелял.

– Спасибо, спасибо; Оксана, возьми! – крикнул священник в сени. – Я это люблю, спа-
сибо!

Но Оксана не явилась. Левенчук помолчал и опять поклонился.

– Батюшка!

– Что тебе?

– Как же насчет того-с?

– Чего?

– Да насчет обещания вашего?

– Какого?

– А про Оксану...

Отец Павладий отошел и выставился из комнаты в окно, в которое еще громче несло пение соловьев.

– Видишь ли, брат, – сказал он, не оглядываясь, – ты человек добрый, и я тебя узнал, да ты беглый, значит – ничто. Ну, как тебе поверить душу человеческую? Ты беспаспортный, бродяга, ведь так?

– Так...

– А я тебя покрываю?

– Покрываете...

– Ну, значит, и ты преступник, и я. Придут, потащут тебя, раба божьего, – и пропала девка.

– Батюшка! Что хотите, возьмите, а отдайте ее за меня; другой год вас прошу, молю; отдайте, не загубите моей души... Богом-господом молю!

– Ну, слушай, вот тебе мой зарок: принеси сто целковых на церковь да сто целковых на выкуп твой, – напишу к твоей госпоже; авось, дадут тебе волю... Тогда и бери Оксану-то. Что, согласен? Хочешь, сяду и напишу твоей барыне; прямо скажем все.

– Нет, батюшка! Бог весть, как еще дома посмотрят теперь на мое бегство; обвиняли же меня за машиниста нашего! Берите двести целковых на церковь, а уж на выкуп у барыни моей не требуйте, не пустит меня теперь барыня. Знаю я, что не пустит. Смилуйтесь, батюшка, обвенчайте так... Мы за Кубань, мы в Молдавию убежим...

Священник подошел к столу, погасил свечи, стал к окну и высунулся опять в него по пояс, глядя на освещенную месяцем росистую окрестность, по которой раздавались соловьиные крики. Из сеней вошла и тихо стала у косяка двери Оксана. Она плакала; плакал и Левенчук.

– Ну, – сказал священник, оглядываясь на них, – перевидал я тут немало вас, горемычных! Бог вас благословит! Венчаю!

Левенчук и Оксана поклонились ему в ноги.

– Когда хочешь, приноси только деньги; значит, ты порядочный человек, достаточный, надежный; ну, значит, тогда и бери. А я, собственно, не себе беру, ни-ни! Что ее в самом деле держать? я и сам думаю. Еще что скажут! Но ей-же-ей, господи, желал бы я, чтобы ты ей принес счастье, горемычной сироте. И где ее родина, и откуда она – не знаю.

Левенчук вздохнул.

– Ну, вот вам, батюшка, семьдесят пять целковых, а остальные, может, и все к Троице отдам.

Он вынул из конца затаканного платка деньги и отдал.

– Ты где был это время и где теперь стоишь?

– Был на неводах и в конторе хлебной был, а теперь опять всю весну при неводе. Там и дичинки вам набил...

– Контрабандой занимался?

– Случалось.

– Нехорошо, Харитон, поганое дело! отвечать будешь! брось! Ну, ступай же, бери свою Оксану. Чай, под ракишкой побеседовать рветесь. Ступайте же, целуйтесь себе, мои пташечки! Только далее... ни-ни... Чуешь ты, Харько?

– И, батюшка, будто мы уже какие антихристы? закон отцов знаем.

– А твой Милороденко где? Давно он меня шутками не смешил.

– Бог его весть, где он. Хотел покаяться, остепениться, а про то не знаю...

– Ну, ступайте же. Да накорми его, Оксана, борщиком, – чай, голоден; там и каши спроси у дьячихи. Навиделся я вас, несчастных! Это ты сегодня с моря, а? Должно быть, пешедралом?

– Да, пехтурой; где нам, ваше преподобие, иначе! Еще с утра вышел, ни крохи во рту не было...

И Левенчук пошел с Оксаной.

А в то время, как студент, исполненный самых пылких надежд на аферу с занятыми деньгами, летел по степи и ему навстречу загоралось приморское утро, дымясь, свежая и освещаясь всякими блестками, Панчуковский призвал в спальню своего Самуйлика, уже знакомого нам старого кучера, и сказал ему:

– Во-первых, проснись, скотина, и слушай в оба; во-вторых, без нравоучений, иначе – плети; а в-третьих, изволь с завтрашнего же дня собрать мне все справки о поповой воспитаннице! Слышишь ли? собрать, да самые верные!

Самуйлик хотел что-то сказать, но только махнул рукою и мрачно и молча вышел. Он знал, что барин иногда с ним шутит, а иногда и не шутит, да и больно не шутит.

Уж солнце всходило, когда студент свернул влево и для краткости пути поехал через небольшую безыменную речонку, отделявшую землю купца Шутовкина от проезжей дороги. На речонке был хутор и водяная мельница. Спустившись шагом на плотину, студент увидел толпу мужиков, забивавших пали у водоспуска. Барыня в лентах и под зонтиком стояла тут же и, куря длинную трубку и порой покашливая, жалостно и суетливо покрикивала на рабочих и распоряжалась.

– Здравствуйте! – сказал студент, узнав в барыне вчерашнюю знакомку, Щелкову, бывшую у Панчуковского.

– А! это вы, мусье! – печально отозвалась вслед уезжавшему знакомцу мадам Щелкова. – Вы вот катаетесь, а мы труженики-бедняки, уже на работе! экскюзе!⁹

Студент приударил по лошади и скоро вошел на крыльцо еще сонного сельского купеческого дома.

А в гущине раkitника и ясенков, разведенных над ключевым прудом отцом Павладием, короткий конец майской чуткой ночи коротали, забыв весь свет, Левенчук и Оксана.

V

Наши Кентукки и Массачуссетс

«Что такое, однако, эти беглые в Новороссии?» – спросит заезжий в эти места. «А что такое беглые? – ответят ему туземцы, – известно что: беглые да и все тут! Крепостная Русь, нашедшая свое убежище, свои Кентукки и Массачуссетс. Здесь беглыми земля стала. Не будь их – ничего бы и не было: ни Донщины, ни Черноморья, ни преславной былой Запорожской земли, ни всей этой вековой гостеприимной царины, к которой стремятся с севера и из других мест за волею и люди, и звери, и птицы! Все тут беглые: Ростов, Мариуполь, Таганрог, все беглые. Эти портовые богачи, купцы и мещане, эти Шелбановы, Пустошневые, Кательманьевы, Безродные, – поройтесь в преданиях их, какова их история? Недавние предки их – крепостные, выходцы из России, либо помещичьи, либо казенные беглые!» Так вам ответят туземцы. А сами присмотритесь на беглых – люди как люди! Что же их сманивает сюда? Приволье земель и работ, только трудись; на всех труда станет...

Со всех концов России, а с севера в особенности, шли огромными артелями наемщики на юг. Они шли по большим и малым дорогам, с косой за плечами, парни и девки, нанимаясь по пути в косари и гребцы. Целые села, гуртом выходя из тесных околотов, шли по дорогам в пыли и духоте, босиком и впроголодь, в ожидании тяжелого труда. Отдельные артели сливались в отряды, становясь к делу на крайнем юге и то там, то тут начиная белеть своими рубашками и сверкать потертыми косами и серпами. Было тут немало и вольных крестьян с биле-

⁹ Простите! (франц.)

тами, и помещичьих с паспортами; но в каждой артели было еще более беглых. Труд нужен, труд дорог: рук мало, дело кипит, трава сохнет, пшеница зреет, горит, наливаясь, осыпается; сотни и тысячи рублей готовы погибнуть: как тут не принять беглых, господа юристы? Милости просим! Хотя и опасно, да кто их усчитает в этой неоглядной степи? Есть где поработать, есть где и спрятаться. Спрячет их свой брат земляк, спрячет и помещик, когда налетит гроза в виде исправника или станового, стан которого здесь величиной чуть не с ганноверское королевство. Станового тут купит всякая депозитка; он и смотрит сквозь пальцы. Чуть зазвенел, однако, жадный полицейский колокольчик – бурлаки прячутся в бурьяны, байраки, стоги или в камыши или в глазах самой власти бегут через границу ее уезда. А помещику и колонисту без беглого нет житья. Беглые – народ смиренный, трезвый, усердный; чисто ливерпульские пуритане в душе. Берет беглый за работу меньше вольного; ну да и обсчитать его легче: не пожалуется!.. Поплачет разве только, либо выругает за околицей хутора не по-человечески, и только. Потому-то здесь все шито и крыто. Беглые идут на линию, за Кубань, в Крым и в приморские степи на юг, как домой, из всяких суровых и тесных уездов севера. Пуританизм их удивительный. Известно следствие в окрестностях Нахичевани, открывшее, что партия беглых ночевала в степном байраке у какой-то лесничихи, как при этом один из беглых украл у хозяйки ведро и как за это товарищи его сперва высекли, а потом, недолго думая, повесили на дубу: «Не срами, дескать, хороших людей!» Так-таки и повесили.

Точки соединения всего этого летнего захожего люда в степях, притон их отдыхов и наймов, их увеселительные клубы, это – шинки зажиточных слобод и одинокие постоялые дворы с громадными, уже известными читателю, степными колодцами.

Эти шинки – вещь любопытная. Кто их здесь не знает, за рекою Богатырем, Джемреком, в селах Большой Янысель и Старый Керменчик и вдоль по рекам Кобыльной и Волчей, а равно в апухтинских и черниговских хуторах, в молоканской слободе Астраханке и в немецкой колонии Красный Трактир? Во-первых, такие шинки приносят огромный доход. В обширной слободе они непременно устроены на главной улице или на площади, близ церкви. Это, по праздникам, своего рода лондонская биржа. А хотите знать, как нанимаются беглые летом и как ажиотируют этими белыми неграми наши южные плантаторы? Извольте. Подъезжая в праздник к месту их сходки, вы еще издали усматриваете небывалую толкотню и слышите громкий говор народа. Толпа стоит перед шинком вплоть до церкви, как на торгу. Отдельные кучки стоят по соседним переулкам, сидят под плетнями или идут решать дело еще далее на выгон, за село, чтобы не было свидетелей. В общей толпе и перед этими отдельными кучками прохаживаются помещики, кавалеры средней руки и приказчики богачей, нанимая артели, выслушивая торги и последние цены, сбивая упорных разными шутками и друг у друга, у своего же брата, сманивая небольшою надбавкой нанятых уже рабочих. Иной приказчик в синем кафтане и в синих шароварах, подпоясанный красным кушаком, ходит-ходит, торгуется, надсается, сошелся, нанял, выставил ведро водки на магарыч, сосчитал свою артель и спешит домой; а по пути, иногда у самых ворот его, встречает артель приказчика другого помещика, надбавляет рабочим ничтожную плату и уводит их с собой. Бывают при этом и свалки наемщиков и нанятых.

Случается, что ловкий соглядатай от одного помещика явится в степь прямо на работу к нанятым другого с целью сманить их разными льготами; а другой-то хозяин еще ловче, подглядывает его штуки да тут же в степи его и высечет. А старики новичкам говорят: «Вы тому не удивляйтесь, что этот пан высек ключника того пана: так было и в старину, как наши степи селились и еще люди тут ходили незакрепленные, как запорожцы». Придет Юрьев день, – являются верховоды, кричат: «На Кильчень!» либо: «На Самару!» Одно село выселяется, а другое идет ему навстречу в иное место. По мостам и по плотинам идут обозы с детьми, добром и стариками; идут батраки и бабы, прощаются с родичами; волю режут, возы скрипят, а паны заезжают друг перед другом, спорят, сманивают к себе нашего брата и рубятся саблями, а иногда и пищади, бывало, хлопают. Оно так всегда тут было!.. Тот пан, бывало, при проезде обоза, хвалит свое,

а этот свое; говорит: «Идите ко мне, люди добрые! дам вам и степи вдоволь, и хорошей воды, и лесу, и хат, и скота!» А уж что соврет, то соврет, лишь бы ему сманить их, вот как и теперь... Есть предание, как один свирепый командир, преследуя здесь беглых, налетел где-то на артель неводчиков и гаркнул на них: «Где ваши паспорта?» Те переглянулись. Генерал был без конвоя, с одною свитою. «На барке, ваше сиятельство!» – ответили те и пошли по доскам, один за другим, за паспортами. Взошли на барку, оттолкнули ее от берега и показали ему оттуда что-то вроде шишей, со словами: «Вот наши пашпортики!» И эти слова стали с той поры здесь поговоркою. В праздник, до начала торга, в слободе, где нанимаются косари и гребцы, в церкви обыкновенно служитя обедня, и все чинно стоят и молятся, слушая отца Прокопа или отца Дороша. Дым густо стелется, дьячок басит, а из дыма глядят все черноволосые и русые чубатые головы, будто сейчас вышли с картин Шевченко, Трутовского и Соколова. Обедня кончилась: наполняется площадь и шинок. В одном из таких шинков долгое время в наймах, под Керменчиком, был беглый повар какого-то генерала из Калуги, который держал отличную простую кухню и, постукивая ножом навстречу входившего загорелого люда, выкрикивал: «А кому угодно котлеток а la метрдотель, бламанже, сюперфлю и все что угодно!» Никаких утонченных диковинок жид —содержатель шинка не мог, разумеется, по его вызову, предложить гостям; но прибаутки повара приманивали толпу, и шинок был не внакладе, справляя иногда, впрочем, свадебные пирушки для соседних поселян и беглых с такими угощениями, что хоть бы и в городе. Про беглых тут ходят и плоские избитые анекдоты, рассказы о том, как они венчаются вокруг полевых кустиков или обходя одинокий стог три раза. Обошли – вот и муж и жена, пока снова разойдутся. Такие же ходят толки и о крестинах. Это уже область местного юмора. Пора работ кончилась. Беглые с полей переходят к неводам. Здесь осенью вся беглая, разбившая свои оковы Русь... Уходя из шинков, косарские артели поют особые местные песни, с сочиненными намеками на соседних помещиков, отдавая им похвалы за милосердие или остря над их скарედностью и стеснениями, вроде этого:

Чужи паны, як пугачи,
Держут людей до пивночи,
А наш соловейко
Пускае раненько;
Дае водки и грошей —
Спаси его, боже!

Такие песни пелись в косовицу и на Мертвых Водах, на полях купца Шутовкина, братьев Небольцевых, близ поместьев Панчуковского, Швабера, Вебера и на церковной земельке Святодуховского хутора. «Отчего иные бегают?» – спросите вы у станового. «По омерзительной привычке», – ответит он вам и начнет доказывать. Хатка у такого бегуна сплетена из камыша, примазана глиной; в хатке ни стола, ни лавки порядочной, а во дворе плетень камышовый. Придет свинья необрядная, толкнет, чесавшись, и повалит весь хлам. Толкнет с досады и сам хозяин хату ногою, повалит ее и пойдет в бродяги. Ему и жены не жалко, и детей. Так по десяти и по двадцати лет шляются. Видно, дома солоно. А иной проворовался, ограбил, убил. Есть и бежавшие от страха наказания за покражу лоскута холста, сальной свечки. И ходят в бродягах годы. Думали переводить беглых, оцепляли города, села. Прибыл в эти места лет двадцать назад, между прочим, другой, подобный упомянутому выше, свирепый начальник и вызвался искоренить тут всех беглых. А подначальник был у него человек обстрелянный и знал, как это легко говорится и как трудно делается. Захотел этот первач свой край объездить. Ездит и ездит, совсем замучил помощника. Ужас навел на беглых своими выходками и жестокостью. В кандалы перековал целые тысячи, остроги ими переполнил по всему взморью. А помощника совсем выбил из сил. Вот и подвел штуку помощник. Проморил как-то владыку в степи, а все

везет его далее, все далее. Уж тот и животик стал потирать и поглядывать из коляски: что за бесов край! хоть бы корчма или деревушка какая, а до города еще верст двадцать. Остановился первач. «Ну, говорит, как бы чего закусить?» Кинулись к свите – ничего нет. А это уж помощник так подвел. – «Нет ли хоть корочки черного хлеба? Нет ли тут постоянного двора где-нибудь?» – спрашивает первач. «Куда вам, ваше сиятельство! У нас ли этому быть в этой голой и пустой стороне! А вот постойте: тут в стороне, на берегу моря, неводок, кажется, есть; беднячок один держит артель. Угодно-с? может, разживемся чем-нибудь?» – «Вези, братец, вези! просто умираю с голода!» Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» – гаркнул первач на рабочих, выходя из коляски. «Здравствуйте, пане!» – «Давайте есть; что у вас имеется?» – «Что же у нас будет, пане? мы люди бедные; хлеб-соль, да разве рыбки вам поймать?» – «Давай». И закинули невод. Уж тогда ли поймали, или было приготовлено заранее, только неводчики и устроили ему закуску: уху из самой первейшей рыбы, с бездною молоко и потрохов; в ноздри душистый пар так и ударил; икры свежей вывалили ему целый бочонок; а горячий хлеб да голодный зуб, главное помните. Наелся генерал до отвала: едва поворотился. Кинул неводчикам червонец, благодарит помощника: «Ну, брат, такого обеда и цари не едят!» Отъехал поезд в степь, скрылось море и коса с неводчиками. Помощник и говорит: «А знаете, ваше сиятельство, у кого мы обедали?» – «Нет, не знаю». – «У беглых!» – «Быть не может!» – «То-то-с; переведете их, так и рыбы такой тут некому будет поймать...» Генерал задумался и больше не козырился, стал как и все мы, грешные...

А плантаторы между тем не дремали. Громадные ватаги косарей и гребцов, человек в триста и в четыреста, расхаживали по быстро косимым степям. Сами веломочные господа кавалеры из-под Ростова, Бердянска, Мариуполя и Мелитополя, кто верхом, в широкой бердянской или одесской, а иногда прямо панамской шляпе, или пешком, с плеткой усердно расхаживали среди артелей, пеклись с утра до ночи на страшном солнцепеке и обращали свои лица в подобие желтого земляного угля. Двигаясь медленными точками и белея своими шляпами, они, как коршуны, стоявшие в небе над ними, зорко поглядывали по сторонам, подмечая либо заленившегося косаря, либо накидывая жадным и плотоядным взглядом смазливую гребчиху с греховным помыслом приласкать ее вечерком, в прохладе одинокой степной пустки, за стаканом пуншика и глотком коньяку или водки. «Эй, хлопцы! эй, дивчата! – покрикивали степные поморские плантаторы, с бойкостью яростных, настоящих янки помахивая на куцах кляч плеткой и верхом ведя свои ватаги по пылающим в зное равнинам, – а нуте, постарайтесь! а нуте, разом, разом, разом! дружнее! Котел каши с салом; два ведра водки лишних на магарычи! А нуте, нуте, нуте!» И сотни обеленных бурьянами кос дружно и мерно сверкают; сотни грабель взвивают и складывают в копны душистый чай наших степей, мягкое и нежное зеленое сено. Среди полян стоят косарские и гребовицкие таборы. Косовица во всем ходу, в полном разгаре. У привала дымится из навозного кирпича костерок. Громадная арба с полотняною крышею в виде гроба без устали открывается и закрывается, подвозя на волах или верблюдах крупу, соль и рыбу от хозяев. Несколько бочек едва успевают подвозить к таборам из дальних колодцев воду. Выпекается в хозяйских хуторах, в особенных печах, и в сутки съедается по триста и по четыреста хлебов, на одном поле, у одного хозяина. Из Мариуполя и Таганрога подвозятся мешки и мешочки на тысячи и более рублей серебром мелочи. Нанимаются артели в десятки и сотни человек понеделно. Расплата производится по субботам. Наморившиеся, загорелые и запыленные девки и бабы сидят в тени, где-нибудь под амбаром или под конюшнею, не распевая песен и не шутя, в ожидании расчета. Косари без шапок стоят кучами по двору или у крыльца. А сами гостеприимные господа-плантаторы сидят у крылечка, перед столиком и расчет ведут. Этой партии триста целковых, этой – сто тридцать пять, той – двести. Кости на счетах звонко выщелкивают красные куши. Перо тут же записывает сказочные летние новороссийские расходы. Хозяева в эти минуты не видят перед собою ни живописных типов украинских косарей, ни хорошенек, подгорелых на ветре и присмаженных на солнце

гребчих. Они видят одно сено, копны, стоги, свои стада и барыши. «А! вон и сам пан полковник выехал! – говорили иногда соседские приказчики, из мещан и вахмистров, видя, что Панчуковский выехал к гребцам или к косарям на красивом сером или буланом жеребчике, – ну, это уже недаром! верно, старый хрыч Самуилик смастерил ему какую колонистку, либо из наших девок какую припас полакомиться. Ишь ты! какой молодой орлик, летает и плавает перед рядами. Вон остановился; шутит, видно, сигарку закуривает... Эх, житье этим господам, право! Денег – куры не клюют; спят себе вволю, пьют, едят, книжки читают – тьфу! А ты трудись... а девок им и отбою нету!.. Как те салтаны проклятые турецкие проживают!..»

Так говорили приказчики, разумеется, от зависти.

VI

Оксана и ракитник

В одной из таких беглых артелей был и Левенчук. Он был в наймах недалеко от Святодухова хутора; часто под вечер мелькала в яру и в ракитовой роще его смурая барашковая шапка. Как же полюбились Левенчук и Оксана? Э, господа! Как любят птицы небесные, зверки полевые? Уж, разумеется, очень просто, как любит все привольное, дикое население степей века и десятки веков, нарождаясь и сменяя друг друга.

Без вздохов, без лишних слов, просто и даже очень просто полюбились и жили своею любовью Левенчук и Оксана. Левенчук окреп на воле в эти три года, возмужал и ревниво берег издали свою Оксану, нанимаясь то в невода, то в поденщики у окрестных колонистов и везде высматривая ее и следя за нею. Их встречи были кратки. Тихая и степенная красавица без него никому не спускала, кто бы ее ни затронул. Возясь и работая в кухне, в огороде, на дворе и в доме священника с утра до ночи, она и дитя кривой дьячихи закачает, и полы вымоет, и птиц накормит, и часто поет-поет, как жаворонок заливается. А сойдет ночь, скрипнет валежник в ракитнике, она молча и покорно идет к Левенчуку, покорно ластится и жаркими-жаркими объятиями нежит его. Слов как-то нет у нее; все бы глупо молчала да нежилась, как кошечка, возле него. Соберутся к святодуховскому пруду соседние гребчихи за водой, полощутся в кустах, припасают ведра воды, умывают загорелые лица, запыленные руки и плечи, и Оксана выйдет из поповой хаты. Наслушается всего, поможет одной-другой воды набрать, подаст ведра на коромысло, придет домой и все рассказывает дьячихе. «Ты только молчи, Оксана, – говорит на это дьячиха, – ты лучше всех, а только молчи! Я уж тебе найду жениха сама!»

«Да, держи карман! – думает Оксана, – и без тебя знаем, где что получше, покрасше!» Сама разденется для работы, затопит печь, засучит рукава, поставит горшки, лук крошит, пшено толчет, обед готовит, – а сердце так и колотится. «Вот, думает, девки полагают, что я такая недотрога, никуда ногой не хожу, ни в наймы в степь, ни в гости ни к кому, а я-то... а ночи?... а ракитник?... Да и тетка Горпина так же думает!..» Пойдет на пруд днем, белье моет. Обнаженные ноги с кладочки в воде рисуются, солнце пышет в лицо. И все ей жалко кого-то. Сама боится глянуть в сторону. «Глянь, – шепчет ей что-то, – глянь! в кусты орешника, в темные ясени, в ракиты глянь: вон там на берегу, по тот бок пруда, стоит кто-то – глянь!..» И весело ей, и тяжело, и совестно, и страх как хочется посмотреть. «И чего я гляну! – думает Оксана, стуча вальком по белью, – теперь полдень, он косит где-нибудь или невод тянет...» Подняла глаза и обомлела: на берег вышел из байрака Левенчук и давно машет ей, зовет ее. А вечер придет... Давно она не видела Харько. Постлалась на лавке, в кухне, помолилась, три поклона положила и крестится, ложась спать. Помнит все, что было днем: как она дитя дьячихи Горпины колыхала, как вечером корову доила, а сама все смотрела опять в сторону, дура, и ждала, что вот-вот кто-то из-за угла покажется. Уже заснула Оксана, спит, а ночью чувствует, что покраснела; совестно ей подумать, как это она выйдет замуж и в люди покажется... Лучше бы так просто подольше жить и тихо любить!

Не помнит Оксана ни отца, ни матери; даже не знает, кто были ее отец и мать и где ее близкие. Слышала, что отца ее зарезали и что с той поры ее взял в приемыши отец Павладий. И с особою любовью ходит она за дитятею тетки Горпины, нежит его, поминутно с ним возится и поет ему степные малорусские колыбельные песни.

Худое и слабое дитя иной раз без меры расплачется. Оксана не даст матери укачать его. Не отходит от него и поет, не переставая. То на руки его возьмет, пойдет с ним на выгон, в лес, опять положит дитя в колыбель и поет.

Как познакомилась Оксана с Левенчуком, трудно и сказать. Был он как-то в церкви, стоял там такой печальный да жалкий; тихо крестясь, приложился к кресту, когда отец Павладий отпуск с обедни дочитывал. Потом косил он в косарях на церковной степи у отца Павладия, а она воду косарям носила. Только и знакомства. А как потом она ему всю душу отдала, стала ходить и бегать к нему, через плетень прыгая, лисичкою в кустах выступая, – этого она и не расскажет. Стала вдруг она и более заботливая: хлопочет и старается по хозяйству, будто собирается куда, будто последние дни для нее настали. А сама похудела, точно измученная чем, но еще более с тех пор похорошела. Русая коса, как шелк, вычесана; темные брови еще темней стали; а слегка впавшие тоскующие глаза не по летам так и мечут любовные чары. Движенья замедлились; тело просится к лени, а работы гибель. Выйдет Оксана на косогор, станет против рощи; стоит и вдруг заплачет. Долго стоит, смотрит и поет за душу берушую песню нашей Украйны...

Или заберется она в глушь байрака, сядет в кустах, шьет узором сорочку, за слезами нитки не видит и тихо поет песню, которой выучилась она у дочки соседней бакшевницы, пропавшей без вести два года назад, вслед за отходом партии неводчиков.

Песня спета; слезы душат Оксану; она упала лицом на работу, и плачет-плачет... еще от рождения она так не плакала. На душе и горько, и тяжело. А мысли роятся между тем: «Ну, желала бы я, однако, знать, где этот пройди-свет Харько? Должно быть, с дивчатами чужими возится, водку где-нибудь пьет. И не срам?..» Поднимает голову и ахнула: Левенчук сидит против нее на корточках, держит трубку в зубах, копается в кисете с табаком и смеется. «Вот хорошо, что ты запела, а я по голосу и нашел тебя!» Застыдилась Оксана. Ей весело и вместе жутко. Дрожь в руках и в груди. Она не придвигается к нему ближе. Он смеется над нею. Она кидает в него нитками, траву щиплет, в глаза ему хочет бросить. А он ей руки крутит, борется с нею, десятки прозваний ей ласковых и смешных дает... «Да прочь же, прочь!» – говорит она ему, морщась и будто отталкивая его, а сама все к нему ближе... Солнце не заглядывает в гушину ясенков! Только ветер перебегает по верхушкам... Дикая утка откуда-то налетела, пошныряла раза два над байраком, улетела опять и, снова прилетев, тяжело шлепнулась к осоке озера, ниже пруда. Должно быть, гнездо ее там свито. А Левенчук рассказывает, где он был в эти две недели, где невод тянули, как пароход откуда-то ночью набежал, дым клубился, море шумело, наплыли лодки к берегу, все какие-то не то армяне, не то далматы бегали, выгружали запретный товар, контрабанду, в камыши и с верховыми укрыли ее потом до рассвета далее. Говорит, что эти дни он косил возле Святодуховки и все собирался к ней, только ждал расчета. «Я видел тебя, Оксана; прошлую ночью к двору вашему подходил... Ты спала на дворе под горницею, да я не посмел через плетень перелезть... Лежишь ты, раскинулась – а я хотел подобраться к тебе, напугать! И как это вы собак не держите; просто страшно! Еще обворуют!» – «И, Харитусю! От злого человека и собака не спасет!» – «Ну, где же наш батюшка теперь, Оксана?» – «Дома; пчел едет покупать на Троицу! Приходи тогда...» – «Э, нельзя! Нам заказано в лиманы; француз чаю привезет; разгружать станем; по десяти целковых на человека в ночь будет... Не приду; а после опять косить приду до вашего немца». – «А, стой! – тихо крикнула Оксана и замерла, – стой; как будто кто ярмом под ногами вот у нас идет; не то отец Павладий, не то посторонний кто... Ишь крадется!» Но шум замолк; на сердце Оксаны отлегло. Левенчук закурил трубочку, и опять пошли толки. Он рассказывает, как жил еще у

своей барыни, как пас овец, как его женили, как Варьку машиной задушило и потрощило, как он утопиться задумал и уже вторые сутки просиживал над омутом у мельницы и как его спас и сманил на линию Милороденко. Оксана в сотый раз слушает и плачет, тихо вышивая узорную сорочку или бросая иглу и безмолвно слушая Левенчука. «Ну, где же теперь наш Василь Иванович, наш Милороденко?» – спрашивает она, тихо в мыслях молясь за него. «Э, Оксана, ищи ветра в поле! Сказывают, что он точно успел за эти три года разбогатеть. Сперва, говорят, был он при неводах, а потом у какого-то грека на хуторе пасеку держал и сам завелся пчелами; даже в мещане в Азове хотел приписаться, по чужому имени – все домом тоже обзавестись мостился. Передают, что уже и при деньгах был. Да какая-то бабенка ему тут подвернулась. Он сперва у нее ключником нанялся – она тоже помещица, что ли. А там и в любовники к ней попал. Год так жил! А с этой весны куда-то и пропал опять без вести. Как будет наша свадьба, Оксана, перед Петровками, мы его разыщем... хочешь? Я припас еще денег; самая малость остается, так и скажи батюшке!» – «Скажу». – «Скажи, что после Троицы, как управлюсь на море да покошусь еще у немца с неделю, приду и остальной за тебя выкуп принесу... Ну, а где же мы станем жить тогда, Оксана?» – «Ох! уйдем отсюда; тут уж нам не житье. Слышно, все разыскивают бродяг, а ведь мы не люди, мы с тобою бродяги... Боже! Хоть бы на Дунай или в ту Анатолию пробраться... У турок, слышно, всех принимают. Вон я слышала, Харько, к нашей дьячихе сестра с богомолья из Ерусалима, проходом в Россию, навернулась, говорит, что нашего народу видимо-невидимо из Одессы и из Польши туда перешло, и по Дунаю так слободами и живут». – «Не может быть того, чтоб до неверных переходили!» – «Ну, а я уж слышала; там пачпортов не требуют». – «А, батюшки, батюшки! вот доля!» – «А слышал ты тоже, – вон попадья к нам от Шutowкина купца наезжала, пшена занимать и постного масла на косарей: наш батюшка на барыши на лето и это держит, – будто к Небольцевым господам исправник выбегал с понятами, село обходил, все сундуки и погреба осмотрел и шестнадцать человек за конвоем в Ростов отвел. Плачу там, плачу было такого, что и-и! Нашли, говорят, в подвале старого-престарого сапожника; он двадцать девять лет уже как бежал, сказывают, от какого-то помещика, не то из Рязани, не то из Москвы, и все это время жил в подвалах, обшивал все околотки...» – «Ну, ну?» – спрашивал Левенчук, все бледнея и едва переводя дыхание. «Как вывели его оттуда, а он, как мушка сонная, осенняя, так и шатается от ветру, ухватился за волосы седые, белые, да и упал об землю. – „Ведите меня, говорит, хоть в Сибирь, а только домой не ведите, на хутор. У меня, говорит, тут уж своя родина, и жена другая, и дети взрослые, а то я руки на себя наложу; я не крал, не грабил, тихо жил себе, работал...“ А исправник смеется: „Ведите его, молодчика, да покрепче закуйте; он уж по четырем ревизиям пропущен, ему и имени Христова нет...“ И повели его на Екатеринослав особо. Так сказывала Шutowкина попадья...» – Левенчук встал, оправился. Встала и Оксана. «Ну, Оксана, теперь ты будь готова. После Троицы зараз повенчаемся! Я пойду на корабли, договорюсь... Я уж устрою... Не житье нам точно здесь становится. Набрехал-таки Милороденко, иль оно уж изменилось! А ты только будь, значит, готова; не в Туретчину, и тут найдем место! Вон и в прошлое лето шел на заработки, с чужим мещанским пачпортом, за Елисаветград. Ну, да и места же это по Днепру, Оксана! Зашел я в такую лощину: все балки, песок красный, слюды блестят на солнце, тюльпаны дикие, как колокола, цветут, алые и желтые, по степям и по ярам, – пахнет, весело, привольно... Вот хоть бы туда! Будь только готова; уж мы спрячемся – а там, слышно, и волю всем скажут! Согласна, серденько мое?» – «Согласна!» – «Так жди же меня, жди, жди!...»

Близился день Троицы, храмового праздника в хуторе отца Павладия. Соседние колонисты, беглые и всякий обычный, захожий люд в окрестности свято чтили и помнили этот день. Отец Павладий, от студеной весны лишившийся всех своих пчел, затевал давно завести новую пасеку, сторговал в соседней болгарской колонии двадцать колодок и со стариком дьячком, который был у него ходоком по всем денежным делам, собирался ехать туда на своей пегашке, вслед за обеднею. Между тем он собирался нанять мимоходом, где случится, из своих более

греховных прихожан, не раз после исповеди бывших в наказании на поклонах, десяток-другой подешевле косарей на свое подцерковное заповедное поле. Да, кстати, тоже с какого-то колониста к этому же дню следовала получка капиталыца и процентов, по пятнадцати этак на сто, за полгода. Таковы уже заразные обычаи этого коммерческого новороссийского люда. В минувшем году отец Павладий пустил часть круглого капиталыца на соседний порт в доле с каким-то греком через того же дьячка, скупив малую толику пшеницы и льна. А немало деньжат блуждало и по северным уездам губернии, и по Дону, и по Кубани, оставляя под залогом в сундучке и в комодах отца Павладия серебряные ложки, браслеты, столовое белье, расписки, часы, даже ордена отставных майоров и ротмистров, ныне усердных плантаторов по рекам Мертвой, Кобыльной и далее до Яны-Салы.

VII Новая сабинянка

Троицын день начался радостно для отца Павладия и прочих обитателей Святодуховского хутора. Седенький рябоватый дьячок в ожидании обеда с выпивкою винца метался, прилизанный и прифрантившийся с утра, между прибранною заранее церковью и домом священника. Дьячиха варила есть батюшке, себе и гостям, обыкновенно наезжавшим сюда к храму. Отец Павладий ловко спрятал в своих каморках к месту книги, журналы и газеты, бог с ними – нелюбимого местными господами Гоголя и гонимого директорами соседних училищ Белинского (которого отец Павладий в простоте души звал не Белинский, а Белинский), накурил весь дом немилосердно ладаном, так что суетившаяся с утра Оксана вбежала было, уже во время обедни, с чем-то в спальню батюшки, торопясь скорее покончить хлопоты, что-то поставить, что-то взять, надеть последние две ленты в косу и пойти степенно и величаво в церковь, но остановилась в клубах непроглядного дыма, покрутила носом и, ухватясь за глаза, выскочила на крыльцо. «Уж это верно, батюшка раскутился; верно, росным или сминою так накурил!» Еще раза два простучавши по зеленому двору быстрыми пятками, Оксана наконец заперла ворота и пошла в церковь. На ней была новая ситцевая красная юбка, синие шерстяные чулки и козловые башмаки, только что из лавки. Много было там господ. Много экипажей стояло у склона байрака, между кустов и под рощею, у возделанного отцом Павладием пруда. Церковь, вся обросшая и густо укутанная белыми акациями, сиренью и липами, едва оттуда торчала золотою маковкою. Чинно прошла обедня с акафистом и с коленопреклонением. Накануне была отслужена обычная панихида по умершим, былым приснопамятным переселенцам на Мертвые Воды. Как плакал обыкновенно в такой канун за панихидой отец Павладий, живой свидетель гибели этих переселенцев, так он прослезился и на этот раз. «Господи, помяни сих... сих несчастных, умерших, умерших разом!...» – прибавил он теперь такие свои слова к заупокойной молитве, просветлев от горя и вспоминая в числе «сих несчастных» и свою молодую чернобровую покойницу, по приезде сюда всех пленившую своим тихим нравом и белизною лица. Круглый и тучный, с красноватою лысиною старичок всегда казался особенно мил в этой маленькой чистой церкви, усыпанной песочком, утыканной от полу до потолка, по углам и по иконостасу свежими ветками, срезанными с рослых лип и берестов, посаженных его собственною рукою. В лучах света, прорывавшихся в распахнутые окна, празднично мелькали, кланяясь, черноволосые и русые головы, тихо и степенно мелькал в какой-то старенькой лиловой с разводами ризе сам отец Павладий, усердно кадя в лицо всякому и тихо повторяя молитвы. А козловатый дишкантик дьячка, благодушно ухмылявшегося на клиросе, мешался с песнями соловьев, гремевших с веток рощи, обступившей церковь. Были в церкви русские поселяне и многие колонисты. Последние красовались в своих особенных народных одеждах. Но вот что случилось на обедне. Неся святые дары на большом выносе, отец Павладий вышел из алтаря, читая внятно поминанья, медленно поднимал глаза, сперва было упершиися в загорелый заты-

лок дьячка, не успевшего отойти вправо, и увидел в двух шагах от себя Панчуковского. Сердце невольно у него екнуло. Он его здесь никак не ожидал увидеть. «Где же, однако, Оксана?» – без всякой причины подумал он, читая молитвы. Продолжая по-прежнему говорить поминанья, он повел глаза влево, как бы ища кого, и радостно остановился на преклоненной, перед выносом даров, своей воспитаннице, Оксане. Отец Павладий был так любезен, так в духе, что после службы пригласил многих к себе обедать, не забыл и Панчуковского ласковым словом. «А у меня от вас, полковник, был посол, – сказал он, простодушно хихикая, – кажется, господин Михайлов, студент на кондициях у купца Шутовкина, и я ему дал по вашему ручательству триста целковых-с». – «Очень благодарен». – «Не угодно ли же и вам ко мне закусить?» – «О нет, извините; я сейчас на три дня уезжаю на торги, за Дон; там степь отдается, ее Шульцвейн хочет взять; ну, мы и поторгуемся». – «Вот как!» – «Да пора же нам, русским, за ум взяться с немцами!»

«Ого! – думал отец Павладий, скидая рясу в алтаре и спеша к другим гостям, – даже с Шульцвейном тягается! Дока, туз! И отлично, что я пристроил под его ручательство часть денег! Это все то же, что наш Ротшильд!»

Гости пообедали и разъехались рано. Оксана прислуживала за столом. Отец Павладий, покушав, задернул занавески в спальне, заснул, встал, выпил квасу и уехал с дьячком, как собирался, за пчелами, в надежде принанять под них еще подвод на месте.

– Смотри же, Горпина, – говорил он, уезжая, – не бросайте так горниц; день праздничный, много народу к пруду за водой шатается; еще чего бы не украли.

– А мне, батюшка, можно за рошу к девушкам пойти, когда сойдутся к байраку песни петь? – спросила Оксана.

– Можно, только без Горпины не ходи. Ты знаешь, всякий народ по праздникам бывает. Я ее со свету за тебя сгоню!

И тележка отца Павладия запрыгала по кочковатой дорожке.

Пришел вечер. Заря разыгралась с невиданною роскошью. К байраку за водой сошлись и съехались для утреннего запаса гребцы и косари. Толпы разошлись по пригоркам; взялись за руки, стали песни петь. Девки стали в «хрещика», в «коршуна» играть, разбегаясь с звонкими песнями и с веселым хохотом. Дукаты блещут, ленты развеваются. Явилась и скрипка откуда-то. Пляс поднялся. Парни долго пока стояли в стороне, посмеиваясь и, по обычаю, громко хвастая разными разностями. Одни пасли тут же лошадей, сопровождающих всегда косарские партии, другие играли в карты, третьи в орлянку.

– У меня, братцы, семь целковых есть!

– Овва! Уж и семь; а у меня двадцать дома зарыто.

– Брешешь!

– Ей-богу!

– А по мне так три молодницы в Ростове убиваются... да я не жалаю!

Взрыв хохота.

– То, может, три свиньи, а не три молодницы! – кричат девки.

Хохот усиливается.

Хвастун, как говорится, «у серка очей позывает» (у волка глаз занимает) и не знает, куда деться от града насмешек. Шум, беготня обращают внимание на другое место. Ночь стемнела. Пары девок и парней расходятся по сторонам, по полю и к лесу. У пруда шалуны огонь было разложили и опять его потушили.

Тут произошло необыкновенное событие. Наутро заговорил о нем весь околоток.

Но надо воротиться несколько назад.

Утром в тот день перед обедней к Панчуковскому приехал купец Шутовкин.

– Я к вам, полковник, с просьбой! – сказал он. Это был грязный и жирный толстяк, с маленькими свиными глазками, с одышкой и с миллионным состоянием.

Шутовкин отерся и сел. На дворе было душно.

– Вы меня извините... Нападают на мои привычки товарищи, что я барином тут вволю живу, не скарעדничаю... Вот у меня дети; я учителя при них держу, и отличного... Но ведь я вдовец... Понимаете?

– Так-с...

– Так помогите же мне, полковник, обделать одно дельце... Понимаете?

– Какое?

Купец засмеялся. Жирные глазки его слезились.

– Край здесь на женщин плохой; их нет здесь. Я давно, видите ли, ищу кого-нибудь взять к себе в подруги...

– Ну-с, что же... И с богом!

Купец крякнул и отер лицо.

– Здесь, видите, глушь, дрянь все народец; сплетни сейчас заводят, смеются... Я было решил дело попрстойнее завести – за своею гувернанткою как-то приударил, к детям ее было нанял; так не поддалась. А теперь уж просто даже влюбился, наметил одну девочку. Вы человек холостой, поймете меня... Я решился увезти одну особу...

Панчуковский протянул гостю руку, но вместе с тем думал: кого же это он?

– Браво, Мосей Ильич! Кто же эта особа?

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал, трепля по руке полковника:

– Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уж и старух к ней подсылал, видите ли, подарки ей делал, – ничто не берет... Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Решился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод или в город прежде, спрячу и в недельку, авось, ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

– Полковник, – сказал гость, – мы с вами коммерческие дела обделывали, помогите мне в этом! Я к вам обратился как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполне не можем; у вас дворня дружная подобрана, да и они ничто перед вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

– Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

– Сегодня вечером у Святодуховки по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подъедем двумя тройками, моя красавица тоже там будет... Ну, а уж самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

– Согласен, извольте. Абдулка, Самусь! – крикнул он в окно своим любимцам. И, запершись в кабинете, господа обдумали все как надо.

– А полиция? – спросил Панчуковский. – Ведь эти болгары народ мстительный и злой, не то что наши: пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

– Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите, а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Уже поздно, к ночи, парни и девки у святодуховской рощи затеяли прыгать через огни, как на Ивана Купалу. Священника не было дома, и некому было запретить это прыганье. Кто-то было поднял голос и сказал: «Что вы, озорники, делаете? Этого не позволяют и на Ивана, а вы теперь затеяли. Не вовремя такое дело, беду несет!» – «Своя воля!» – отозвались из толпы. Принесли парни и девки соломы, веток, бурьяну, разложили костерки от оврага к роще и стали с разбегу прыгать, ухватясь руками и гадая: чьи руки разорвутся над огнем во время прыжка,

тому в тот год не венчаться. Голоса стали звонче, шум и гам усиливались. Подошли новые парни, в том числе люди Панчуковского. «Э! с вами бегать – горе наживем!» – со смехом отнекивались девки от исканий полковницкого Абдулки и еще одного рыжего парня. Но на слова: «Сударыня-боярыня, пожалуйста ручку!» – руки подавались, как и другим. Нечего говорить, что в это же время, как знакомцы и незнакомцы потешались в виду подцерковной рощицы запретною игрой, поодаль к двум курганам впотьмах подъехали и стали у оврага коляска и телега. «Тише, тише!» – распоряжался с телеги, не вставая, толстяк Шутовкин. Часть его подбранной шайки смешалась с играющими, двое залегли на дороге в кустах, а Самусь, полковник и он сам ждали у лошадей. Полковник, слегка бледный от ожиданий, стоял, облокотясь о свою коляску, запряженную ухарскою скаковою четвернею, молча глядел в темный воздух, в ряд мелькавших огоньков и покручивал усы.

«Что-то нейдут, не слышно ничего! Как-то дело разыграется? – думал Панчуковский. – Утащить, схватить не шутка; да как уйти от погони? их ведь не шестеро там...»

Шутовкин только удушливо сопел и неподвижно с огромной телеги глядел вдаль, прислушиваясь к игравшим у огней. Лошади стояли, опустья уши, и только изредка вздрагивали, дремля и лениво переступая с ноги на ногу. Много думалось полковнику. Он вспоминал щегольской Питер, изящную гвардию, товарищей, оперу, разные прочитанные романы, разных нежных барышень, в которых еще недавно влюблялся, и соображал, каким разбойничьим и смелым делом теперь ему пришлось заняться: чистый Стенька Разин или, по крайней мере, Казы Магома и Шамиль, укравшие Орбелиани и Чавчавадзе. «Эх, край! – думал он, – чистый эдем!» Не успел он раскинуться мыслями, как со стороны сторожи, лежавшей в кустах, раздались голоса: «Шш... бегут!» – и в то же время вдали у огней произошла какая-то сумятица и свалка.

Через минуту Шутовкин и Панчуковский слышали, как по полю, впотьмах, тяжело бежало несколько человек, то останавливаясь, то опять ускоряя шаги, как бы борясь с кем-то по дороге. Вбежав в кусты, эти лица ускорили бег, соединившись с засадою. Еще через секунду раздались и сдержанные крики: «Ой-ой! пустите, пустите», – и прямо к телеге плотоядно трепетавшего Мосея Ильича с размаху была притащена бившаяся белая фигура. Косы у нее были раскинуты, грудь распахнута, одежда изорвана.

– Душечка, душечка, перестань! перестань! – шептал Шутовкин, ловя ее с телеги впотьмах жадными дрожащими руками, и едва из сил выбившаяся прислуга свалила ее к нему в телегу, он закричал обезумевшим от радости голосом:

– Погоняй, валяй! гони вскачь! бей!

И оба экипажа шарахнули по предварительному условию в разные стороны. Развязанные колокольчики зазвенели и понеслись, то смолкая, то опять звеня и пропадая вдали. Они скакали без умолку, летя без дороги. Отскакав версты три, экипажи опять подвязали колокольчики и понеслись неслышно в темноте далее. Но среди их неожиданно появился, как бы также по условию, какой-то верховой и полетел с колокольчиком в руках, звеня, в третью противоположную сторону. Он уже сбил слушавших окончательно.

Толпа играющих между тем едва могла опомниться от изумления. В конце вереницы уже погасавших огней произошла безумная суматоха. Пробежала молва, что какой-то парень, крепко ухватив за руку девку, потащил ее насильно. «Не дави, пусти, а то брошу!» – говорила она. «Не бросай, скачи, а то не повенчаемся, как разорвемся!» Она засмеялась и не вырвала руки. Пары побежали. Эти же двое вдруг отделились и побежали в сторону, в поле. Девушка все еще смеялась и отбивалась слегка. Но к ним прибежали еще двое. Они скрылись в темноте. Раздались крики: «Ой-ой! спасите, не пускайте!» Парни сбежались на то место. «Кого это кто подхватил?» – «Милованку, Милованку, девку из колонии!» – «Кто же это?» – «А бес его знает!» Оглянулись, стали перебирать меж собою, кто это недоброе такое затеял. Смотрят –

знакомые всем полковничьи люди тут, и Абдулка между ними стоит и тоже мечется, будто ищет, кто бы это такое затеял. А крики все дальше и дальше по полю...

– На коней, братцы, на коней! – закричала толпа парней. – Где наши кони? в погоню за ними, отбивать! Бей их, бей! Как! наших девок красть! Бей... души их!..

Парни кинулись на пастбищный луг за лошадьми, поскакали верхами по звуку колокольчиков, а другие побежали пешком в стороны. «Садись и ты на коня!» – кто-то крикнул Абдулке. «У меня свой тут», – ответил тот и поскакал также. У него был за пазухой колокольчик. Влетев в степь, он вынул его, зазвенел им, повернул коня назад и сбил этим дружную погоню. Ему это было не впервые: закубанский татарин, он еще недавно набивал руку на подобных наездах.

Костры между тем стали потухать сами собой, девки разбежались первые.

– Пойдем и мы, тетка, скорее домой! вот страсти! – говорила напуганная Оксана тетке Горпине, между тем сильно подгулявшей с какими-то солдатами, тут же у пруда, и едва волочившей ноги.

– Ох, бабо! скорее, скорее пойдем! да нуте же, двигайтесь шибче! вот засиделись тут! а неравно батюшка при-ехал; что тогда нам будет? Скорее, скорее, скорее! вот страсти! я сама вся мертвая...

– И, моя кралечко, а так-таки ничего; сказано: повеселились, ну и все тут! – отвечала Горпина, сильно пошатываясь, при помощи Оксаны спускаясь в овраг и в рощу и беспрестанно спотыкаясь. Оксана ее поддерживала, пугливо к ней прижимаясь и в ужасе вглядываясь в темные, будто враждебные ей, ветви ракитника.

А в темноте теплой чудной ночи то там, то здесь носились какие-то шорохи, свист раздавался, топот конский звучал, крики издали проносились, и ни одна звездочка не освещала темной, непроглядной ночи. Байрак замолк. Зазвенел еще где-то за холмами колокольчик, зазвенел и опять затих. Молчала вся таинственная, обворожительная новороссийская ночь...

«Господи! выручат ли они ее?» – подумала, перекрестившись, Оксана. Плетень затрещал под ее рукою. Она перелезла во двор и отперла ворота.

Введя тетку Горпину в кухню, Оксана уложила ее тотчас спать. Сама она не решилась лечь, по летнему обычаю, на дворе, на крыльце, а тоже легла в кухне, заперла двери на замок и, наскоро помолившись, вернулась, еще дрожа от неожиданных страхов, и стала думать: «Вот страсти, так страсти! Боже! Боже! где-то теперь мой Харьков! И батюшки нашего до сих пор еще нету! Что это значит? Господи, спаси нас и помилуй!»...

Оба экипажа, верст за шесть, опять съехались. Продолжал скакать в противную сторону один Абдулка, сбив погоню парней.

– Поздравляю, Мосей Ильич! – сказал Панчуковский, доскакав до осинової рощицы и выпрыгнув из коляски.

– Спасибо, Владимир Алексеич! – отвечал тот, протягивая впотьмах Панчуковскому толстую руку и ловя его за плечи. – Позвольте вас обнять! Эта роща, эти осинки останутся у меня навсегда памятные...

Похищенная колонистка сидела молча, тяжело дышала и не поднимала от колен лица. Она была связана вожжами.

– На завод! – крикнул кучеру Шутовкин. – Благодарю еще раз, полковник. Я у вас в долгу. Пошел!

– Будьте счастливы!

Тройка Шутовкина выбралась снова из лошинки в гору, от условленного места свидания, от осинки, и поскакала по пути к салотопенному заводу Мосея Ильича, бывшему от его собственного незаселенного поместья верстах в пятнадцати. Там Шутовкину предстояло среди уединенного, почти пустого летом, хутора, как новому рыцарю Теобальду, склонить или не склонить на свою сторону сердце похищенной им новой Элеоноры.

Панчуковский между тем стоял впотьмах, в раздумье, у осинок. «Завтра надо ехать на торги! – мыслил он, – все хлопоты и хлопоты, а счастье все как будто за горами! Где же оно? Где? Что, как бы теперь же и мою?..» И дух у него замер. Он прошелся раза два у коляски. Верный Самусь оправлял лошадей. Чужая удача охмелила полковника.

– Самусь!

– Чего угодно?

– Абдулки еще не слышно?

– Никак нет-с.

– А скоро будет сюда, как думаешь?

– Должно статься, скоро.

Панчуковский стал вслушиваться. «Да или нет? – думал он с тревогой в сердце, вдыхая нежный запах хлебов и трав и тихо похаживая возле коляски. – Ехать ли на торги, или и мне порешить теперь же, в эту ночь, с моею красавицей задуманное, желанное, небывалое еще и не испытанное мною?.. Нет, это будет слишком дерзко! Я-то уж никак не уйду от преследования. Меня узнают, отыщут ее... А чудная, чудная девушка! Нет, нет... Еду на торги, отсюда же прямо еду... Ведь сорок верст».

– Самусь! – сказал он и не успел услышать ответа, как со стороны осинок из-за косогора послышался еще отдаленный, а потом близкий топот лошади, бежавшей вскачь.

– Абдул-с Албазыч! – сказал Самуйлик, – это он-с...

Панчуковский выждал, встретил Абдулку, сел наземь, велел к себе ближе подойти Абдулке и Самуйлику и сказал:

– Так как же, ребята? А нашему делу разве пропадать, а?

– Нашему-то? – спросил Абдулка, стирая с лица пот.

– Да.

– Ну, нашему и подавно, ваше высокоблагородие, не следует пропасть! Полагать должно, что и нам не приходится зевать.

Полковник достал из коляски припасенную флягу водки, дал кучеру и слуге по стакану, дал им закусить из собственного складня, выпил сам и закурил сигару.

Лошадям дали вздохнуть, попасли их с час на траве. Полковник лег на разостланном коврике и думал: «Вот край! вот места, эта Новороссия! рассказать бы о них нашим питерским! О, какое раздолье во всем! Что за ночь, какие чудные таинственные романы она здесь покрывает?»

Панчуковский велел готовиться в путь. Лошадей опять запрягли. Он сел в коляску, а Абдулка поехал за ним верхом. Всю дорогу говорили они шепотом, ехали шагом.

Ночь между тем будто еще более стемнела. В первый раз уже прокричали петухи. Месяц в то время показывался только перед самым утром. На дворе отца Павладия все было спокойно. Тетка Горпина крепко спала в сенях кухни, оглашая их изредка храпом. Оксана нарочно ее положила спать на пороге, у выхода из сеней на крыльцо, а дитя Горпины положила в кухне. Самой Оксане долго не спалось, как она ни мостилась для этого. Уж она передумала с полкороба и о Харько, и о том, что ОН обещался явиться вскоре после Троицына дня. Перекидывала она в мыслях картины ожидаемой своей свадьбы: как она оденется, как пойдет в церковь, как на нее люди будут смотреть, а ей жутко, и весело, и страшно. «Что, как бы Левенчук пришел в эту самую ночь?.. – неожиданно подумала она, – вот бы до смерти обрадовал, и эти страхи прошли бы сейчас! Да что я, в самом деле, какая-таки я дура! Где ему теперь шляться по ночам; он на неводах...»

Оксана с этою мыслью повернулась к стене, сжала глаза и решила окончательно заснуть, как в сенях скрипнула половица. «То, верно, тетка Горпина проснулась и ищет воды с похмеля напиться!» – решила она. Шаги опять раздались уже под окном, и после кто-то взялся

за ручку двери, подумал, что она, верно, заперта снутри, и затих... «Левенчук!» – мысленно решила Оксана и быстро в восторге вскочила с постели. Ей стало вместе и страшно, и радостно. Озноб пробежал по ее спине. Дыхание замерло. Она в одной рубашке подбежала к окну: как ни темно еще было на дворе, но в сумерках ей показалось, что какие-то две тени прошли по двору. Мысль о возвращении дядьки и отца Павладия, а потом вдруг о ворах мигом блеснула в ее голове. Как была, раздетая, она кинулась за печь, постояла, вся дрожа от испуга, а потом стала наскоро одеваться. Что, как придут и зажгут огонь, а она раздетая! «И кто бы это был? Как спокойно ходит по двору! Верно, батюшка, да сердитый приехал! Достанется и мне теперь!» Наскоро накинула она юбку, стала повязывать вокруг головы косы и в ужасе ахнула. Дверь быстро отворилась, и с зажженной восковой свечой в кухню вошли бледный и взволнованный Панчуковский и сияющий Абдулка. Оксана сразу не успела осознать всей опасности своего положения; но в первый же миг узнала и свечу, взятую у киота в комнатах отца Павладия, и вспомнила, что даже спички там на столике лежали. «А где же тетка Горпина?» – подумала она, глупо запахивая рубаху и прижавшись за притолок печи. Но свечу вошедшие сейчас задули, едва окинув глазами кухню.

– Что вам? – тихо спросила Оксана из-за угла печи, не зная в лицо пришедших и слыша, что они к ней идут.

Ее мигом впотьмах схватили две крепкие руки и стали вязать. Она крикнула сперва: «Тетка! тетка Горпина! – силясь отбиться, но вслед затем крикнула громче, по местному обычаю: – Кто в бога верует, рятуите!» Недолго с нею боролись полковник и Абдулка. Они завязали ей рот, и стянули вожжою ей ноги и руки, и бережно, тихо перешагнув через тетку Горпину, понесли ее двором через плетень и церковною оградой и ложиной оврага вышли к пруду и к роще. «Это удивительно! – думал Панчуковский, неся Оксану и передавая ее Самуилику, – как спокойно и беспрепятственно унесли мы эту драгоценность отца Павладия! И арбузов по ночам с бакши так счастливо не воруют тут ребятишки!»

– Вот же вам, ребята, пока по червонцу; а доставим до места, будет еще по два! – сказал полковник, уложив в коляску Оксану, и сам стал моститься к ней. Вопреки Шутовкину, дрожавшему при покраже своей красавицы, полковник был совершенно спокоен.

– А старуху, ваше высокоблагородие, ослобонить? – спросил Абдулка.

– Развяжи ее, освободи!

Абдулка сбегал обратно во двор отца Павладия, обошел снова все комнаты священника, поставил на место к киоту свечу, запер все двери, снял веревку с ног и с рук тетки Горпины, не чувствовавшей с похмелья ничего бывшего в ту ночь с нею, перешагнул опять через нее и снова побежал к коляске.

– Что ты так долго был там?

– Жаль было веревки; это, ваше высокоблагородие, на нее с новых постромок захватил!

Коляска, подхваченная быстрою четвернею, понеслась легче ветра. Теперь обычай полковника ездить не иначе как вскачь особенно пригодился.

– А мне куда? – спросил, провожая барина, Абдулка.

– Ты ступай домой. Да смотри, молчи обо всем!

– Слушаю-с, будьте спокойны.

История вышла громкая, но ее драма завершилась еще неожиданным отступлением. Толпа подпивших у раkitника парней погналась, по слуху, за колокольчиками, отбивать похищенную колонистку. На дальнем перекрестке у мостка, над дрянною мочажинкою, поросшею вербами, парни наскочили на какого-то верхового. Крики: «Бей, бей! души их, лови!» – его испугали. Он притих на седле и вздумал было ускакать в сторону, от мостка к вербам. «А, сюда! вот он! держи его!» – заорала толпа, и пойманный ею верховой был стащен с лошади. «Кто ты? где она? где вы ее девали?» – горланили парни. Почтенный друг Вебера, арендатор Адам Адамыч Шва-

бер (это был он) тухнул не на шутку. Он ехал также с тайного свиданья, от одной молочанской вдовы из раскольников, бережно хранимой им от своей супруги и от всех, и теперь испугался вдвойне и того, что его окружила толпа пьяных, и того, что могли открыть его похождения. Он стал запирается, что ничего не знает и не видел.

– Да что его слушать! Бей его! Розог сюда, розог! – гаркнула пьяная толпа. С почтенного отца семейства стащили зеленую куртку, сбили с него шляпу, положили его на траву и всыпали ему сотню вербовых, да таких, что лучше бы и не вспоминать этого.

– Ну, теперь, дядюшка, ступай и не поминай нас лихом! Может, и не ты, а все-таки подделом!

Измученный, огорченный и до смерти напуганный Швабер остался один, оделся, с трудом снова взлез на коня, едва добрался до своего домика, охая, вошел в комнаты и лег спать в кабинете вместо спальни. До утра он проплакал и мысленно ругался на все лады. Но событие той ночи он положил скрыть от всех и скрыл, как серьезный и честный немец.

Купец Шутовкин, поместив свою Дульцинею на салотопенном заводе, в пустой хате, под стражей двух верных слуг, до того забылся в своем счастье, что, несмотря на детей, стал к ней ездить явно, среди бела дня, проводя у ней целые сутки и дрожа над ее белым молодым телом, как ревнивый турок. Он забыл и детей своих, и пересуды всего околотка. Скандал вышел в окружности общий, небывалый. Все костили грязного сластолюбца на чем свет стоял. Прощеживали сквозь сотни сит каждую весточку о его переездах к ней, о том, как через какой-то неглубокий ручеек он по ночам пробирался к своей красавице, несмотря на собственную тучность, на особо устроенных ходулях; какие ей давал имена, как вел себя у нее. Это все уже мигом узнали пытливые умы. Только, как обо всем обычном, об этом также говорили недолго. Прошла молва, что болгары той колонии, откуда была эта девушка, ходили жаловаться в стан, а потом в суд; ходили и к самому купцу, – но кошелек точно произвел свое: уgomонился и становой, и суд, и грозные обруселые болгары, и сама похищенная. Через три недели она свободно уселась в фургон Мосея Ильича и открыто переехала к нему в дом, на новое диво всех новороссийских его соседей, детей и их учителя, студента Михайлова.

Зато с Оксаной была другая история. Оксана как в воду канула. Прискакали на другой день без памяти отец Павладий и дьячок; они все узнали еще дорогою и накиннулись на дьячиху.

– Где Оксана?

– Не знаю; так и так, попритчилось.

Дьячок схватил старую Горпину за седые косы и стал бить ее и мотать по хате. Священник обезумел от горя.

– Что ж делать! Бейте, не бейте, а я не знаю; пропала моя душа! – стонала под жестокими ударами дьячиха Горпина.

– Да где же ты была, подлец баба? где была? – допытывал дьячок.

– Что же! напоили люди, солдаты какие-то у пруда... Я была с нею там, а после заснула в сенях, а тут и попритчилось.

– А! солдаты у пруда! Иди же сюда... – Дьяк запер жену в чулан, пытал, но ничего не открыл. Не мог ничего открыть и отец Павладий...

«Ту, положим, украл купец; а эту? Панчуковский? Так нет же; он еще с утра уехал за Дон».

Так думал священник.

И точно, самого Панчуковского во время пропажи Оксаны дома не было. Это знали все. Через три дня он воротился из-под Ростова, где его видели все, как он там был и спокойно торговался о степи. Шульцвейн уступил, Панчуковский надбавил большую цену и взял у владельцев степь себе.

Куда же помчалась коляска полковника в конце ночи, огласившей тихие и уединенные берега Мертвой двумя похищениями? Очень просто: Панчуковский увез свою пленницу на арендуемую им у одной донской помещицы землю, оставил ее там под надзором Самуйлика, а сам с другим батраком, сторожившим его уединенную пустку (хижинку между двумя овчарскими загонами и чабанской хатой), поспешил на торги. Оксана была спрятана за перегородкой. В ожидании барина, услужливый Лепорелло предлагал ей есть и пить, но она упорно от всего отказалась и ничком на кровати пролежала до вечера. Под вечер полковника обратно примчала бойкая четверня. За повозкой ехал и знакомый фургон Шульцвейна; но его хозяин сидел в коляске с Панчуковским и с ним вошел в пустку, продолжая по-немецки разговор и спор о перебитой у него аренде. Оксана слышала все из-за перегородки и не решалась отозваться. Она считала гостя за приятеля своего похитителя и не знала, что этот самый гость первый ему когда-то сказал о ней и первый любовался воспитанницей отца Павладия. Посидел немного Шульцвейн, понюхал табачку, спросил еще раз со вздохом: «Так вы не отдадите мне этой степи и за отступное?» – получил отказ и взялся за шапку.

– Вы слышали, – спросил колонист, выходя на крыльцо и продолжая речь по-немецки, – вы слышали, – там на торгах, как вы уже ушли к хозяевам, приехал купчик с Мертвой и привез известие – странное известие – о покраже сегодняшнюю ночью двух девушек, возле рощи вашего соседа, священника, и будто одна из похищенных та самая воспитанница священника, о которой я вам когда-то, помните, говорил?

– Нет, не слыхал! – ответил полковник, бережно запирая за собою двери.

– Жаль, – сказал, уезжая, Шульцвейн, – таких господ – это, наверное, наши помещики либо офицеры – горожане, – их бы давно пора остановить... Это скверно, подло! Прощайте! Напишите мне, кто это.

– Прощайте! с удовольствием!

Колонист уехал. Панчуковский отослал людей на овчарню, вышел, осмотрел кругом свою пустку, вошел туда обратно, запер за собою двери, постоял в сенях и тихо ступил за перегородку. Оксана сидела, опустил голову на связанные руки.

Между тем пора, назначенная Левенчуком для последнего выкупа Оксаны, давно прошла. Отец Павладий ходил по комнате, заложа назад руки, выглядывал в степь, подходил к байраку, к пруду: «Вот здесь она белье мыла, тут часто шила, птицу стерегла. Ах, подлец же, подлец Панчуковский! что выкинул! Это он, он! больше некому. Зверь-кровопийца, и по-звериному запропастил ее без следа!» – так думал отец Павладий, и сердце уже не манило его по обычаю пойти запереться в спальне, перебирать и считать депозитки новых барышей. Зато же он наседавал на литературу. По целым дням читал новые московские и петербургские журналы, а на книгу «Сельское духовенство в России» стал даже разбор писать, охая, сопя и не зная, где лучше выбрать студеное местечко в доме для работы. А кругом наступала последняя знойная, душная пора уборки хлебов.

Раз привез попу дьячок из города почту. Он кинулся прежде на газеты, единственную роскошь своего пустынного и глухого степного быта.

– Боже, опять публикация о беглых! Эх их сколько! Когда-то этому конец будет?

И он стал читать, наскоро разрывая пакеты херсонских, таврических, донских и прочих местных ведомостей.

– Послушай, Фендрихов, – говорил он дьячку, степенно стоявшему у дверей, – вот что пишут. Дай-ка платок носовой... Да трубочку набей... за табаком надо съездить... Слушай, вон в таврических пишут: «Оное же правление извещает, бежал в третий раз, четыре года назад, Макарославской губернии, Южнобайрацкого уезда, дворовый человек помещика Студныченки, Василий Милороденко, он же по прозвищам в бегах: Александр Дамский и Аксен Шкатулкин. Бежал он, обвиняемый в сообществе с нахичеванскими армянами, делавшими

фальшивые ассигнации, и в подделке для придонских пристаней, беглым же людям всякого звания, паспортов. Приметы ему: нос, рот, подбородок и уши умеренные, глаза карие, волосы и усы темно-русые. Особых примет не имеется. Говорит хорошо по-русски, веселого нрава, вежлив и выдает себя иногда за человека высшего круга; более нанимается в лакеи и в приказчики, а в часы загула ходит по шинкам и сборищам с бубном, играя на нем за деньги. Почему оное правление, ведя дело о паспортах и фальшивых ассигнациях, нашедшему или указавшему его, обещает дать приличное вознаграждение и покорнейше просит все подлежащие присутственные места не оставить...» и проч.

– А? Фендрихов! слышишь?

– Слышу-с, ваше преподобие! Подло-с.

– Ведь это тот самый Милороденко, друг Левенчука, что и у нас на подцерковной два года назад косил? Как ты думаешь?

– Тот-с; я его еще с двора прогнал тогда: к нашей Оксане еще, безобразный человек, тогда подбирался, ваше преподобие...

– Эх, Оксана, Оксана!.. Да ты слышишь – фальшивые ассигнации делал и паспорта... А это ведь каторгой пахнет! А кажется, и хороший человек. Повторяю тебе, Левенчук ему еще и приятель; он сказывал, что этот Милороденко на дворянке будто был где-то женат... Да где-то, Фендрихов, и Левенчук теперь?

Дьячок вздохнул.

– Да-с, срок-с подходит! на днях, полагать должно, он вынырнет где-нибудь, Оксану потребует либо деньги, выкуп назад.

– Что деньги! Не в деньгах дело! не их, братец ты мой, жаль! Жаль парня; хороший человек! Ведь голову потеряет, руки на себя наложит, узнал уж я его, что за человек! Как он надежды эти строил – поселиться за Кубанью или в Бессарабии хотел, а уж Оксану-то любил он, любил... Подло, Фендрихов, Панчуковский поступил! Не убоился таганрогской истории!

– Подло-с; распреподлеющий и развратный человек, и только-с. Сказано, смерд собачий, а не люд божий! Я бы ему голодному в голод али прозябшему в мороз, в метель, хлеба, места теплого не дал, я бы ему больному...

В это время в сенях скрипнули двери. Дьячок насторожил уши, шмыгнул туда, посмотрел, вошел в сени, поговорил с кем-то и явился в комнату смущенный.

– Ваше преподобие! там от этого самого Панчуковского-с, от полковника, приехали! – И такова сила богатого человека в свете: как ни бранили полковника эти люди, а появился простой посланный от него, и они потерялись.

Отец Павладий засуетился, оправился, даже прежде надел подрясник и вышел к приехавшему. Сначала он смешался, увидя, что это лакей.

– Что тебе, любезный? – спросил радушно отец Павладий, не поднимая глаз на посланного.

– Полковник прислали просить газет, что вы получаете, на день только, говорят, от скуки почитать! – ответил Абдулка (это был он).

Священник задумался. «Странно! – подумал он, – до сих пор ни разу не просил, или он прикидывается, чтоб показать, что совесть чиста, или, в самом деле, не он украл Оксану? Так где же она и кто ее украл?..»

Он вынул платок, сам не зная для чего, повертел его, высморкался.

– Так ты говоришь, что ему нужны газеты?

– Точно так-с.

Отвечая это, Абдулка бойко поглядывал по сторонам, как бы обнюхивая, в каком положении находятся стены здесь с тех пор, как он тут свободно ходил и ставил обратно свечку.

Священник вертел в руках платок.

– Это ему читать?

– Читать-с.
– Стало, он дома? Это скучает он, значит?
– Дома-с.
– Он что делает?
– Известное дело, барин! Больше пишут-с, лежат на диване или приказы отдают, либо курят... У нас тоже гости бывают.
– Кто же?
– Господа Небольцевы, немец Шульцвейн опять насчет степи наезжал...
– А он ездит куда?
– Как не ездить! В поле ездят на работу; так куда-нибудь, в гости...
Священник обратился к дьячку, у которого рот, с приездом Абдулки, как открылся, так и остался.
– Газеты, Фендрихов, на столе лежат?
– На столе.
– Все там лежат?
– Все.
– Ну, так ты ему это дай; а ты, видишь ли, любезный, полковнику кланяйся и скажи ему от меня... слышишь? от меня скажи: очень рад, да чтоб только листочков там не помяли.
– Будьте покойны-с.
– А косари почем? – нежданно и уже без всякой причины брякнул старик.
– По трехрублевику-с в день и по порции.
– Ай, батюшки! вот ломают! Ну, да я по трехрублевику не достану, где нам!
Посланный уехал. Священник вошел в комнату, стал перед дьячком, отер крупный пот с лица и расставил руки, а потом ударил себя по лбу:
– Вот опростоволосился! И чего я так его почтил? Что, брат Фендрихов, а? Каков тузище?..
Дьячок махнул рукой и зарычал:
– Голодному ли, в мороз ли, больному ли, а я бы ему отказал! Развратник, антихрист! Это он, другому некому, я уж знаю! Эх! анафема! И еще за газетами к нам же... Тьфу! и сраму им нет.
Газеты полковнику отвезены, но он их бросил, не читав и, следовательно, не имев случая узнать, кого разыскивают из новых беглых, за чем он прежде всегда следил, между прочим. Когда священник получил обратно газеты, он заметил, что полковник их вовсе не читал. Они были в том же положении, как сложил он их, отправляя.
«Странно! – подумал священник, – так и есть, он их брал, чтоб только вид показать, что его совесть против меня чиста. Но с беглыми как бы он теперь не попался...»

VIII Пленница

Между тем как Мосей Ильич Шутовкин, поручив своих детей Михайлову, с незапамятным порывом отдался поздним опытам любви и плотоядно увеселялся в компании своей красавицы, а Михайлов, предоставляя малым пленцам клеветать не одни зерна науки, но и всякие другие зерна, благодушно аферировал с мелкими окрестными торгашами, – в это время буквально никто в околотке не знал, куда делась вторая красавица. Таковы уже степи. Кто украл, догадывались сначала немногие; но потом и эти бросили свои догадки и почти перестали вовсе судить о них. Да и не к тому повернулись в ту пору общие толки и мысли. В это время подходила жатва пшеницы; пшеница начинала уже осыпаться, все хваталось за серпы и косы, а между тем носились тревожные слухи о саранче, что будто где-то, не то с Дону, не то из Крыма,

она летела и близилась. С трепетом поглядывал Панчуковский на свой громадный рискованный тысячедесятинный посев пшеницы. Он частенько показывался на балконе верхнего яруса своего дома и, куря душистую кабанас или фуэнтес, всматривался в далеко волнующиеся сухим шорохом хлебные нивы.

– По чем у вас в конторе объявлена цена за съемку десятины пшеницы? – подобострастно спрашивали полковника мелкие соседи его, из небогатых дворянчиков.

– Дорого-с, – говорил, надменно подшучивая, новороссийский янки, – по девяти целковых за десятину, скосить только и сложить в копны! Осточертела мне совсем эта пшеница своими анафемскими расходами!

– А! по девяти целковых за одно это? вот сказать бы это в Питере!

Соседи ухмылялись улыбочками голодных собак, но втайне трепетали, что им надо будет тоже платить.

Но где же Оксана? Куда запрятал ее Панчуковский с той поры, как ее завез было на свой хутор, под Ростовом? Никто этого не знал и не ведал.

Знали соседи, что точно полковник ездил в день пропажи Оксаны на торги, был там с Шульцвейном и через три дня воротился. Стал он потом ездить всюду, по-прежнему разговорчивый, степенный, веселый и вместе серьезный, пленяя всех своим нарядом, обращением, прической и даже щегольскими ногтями. Глянет, по отъезде его, на свои лапищи и на навозоподобные ногти какой-нибудь Вебер или Швабер, или сосед-плантатор из русских же, рассмеется и плюнет на пол, не метенный уже две недели по поводу полевых работ.

– И когда у этих господ, – замечает иной из них, – времени станет еще на такоеprodольствие ручек и ногтей! Тут некогда иной раз головы вычесать, бороды побрить; рубаху одну по неделям в степи таскаешь, так что после жена и в спальню к себе не подпускает! А он? Это непостижимо! и дела как будто идут еще лучше нашего! Вон и Шульцвейна, говорят, осилил... непостижимо!

«Сказать бы опять, что полковник, если бы похитил точно девушку, – думали иногда соседи, – то ворота бы затворял в свое жилище, а то нет: всякий входит туда и выходит оттуда свободно!»

Стены действительно были высоко выведены, не влезешь без порядочной лестницы на них ни снутри, ни снаружи. На воротах висели огромные замки. Снутри они еще запирались прежде на ночь на железные засовы, а теперь стояли постоянно настежь. В кухонный флигель, единственное здание, кроме конюшни, внутри главного двора (остальные здания: рабочие, кузница, овчарни, скотные сараи и ток были за двором в полуверсте), также всем позволялось ходить. В самом доме, наконец, внизу и вверх, окна были, как всегда, не закрыты ставнями. В нижних окнах, под полуопущенными белыми жалюзи, отороченными алыми фестонами, часто показывалась красивая русая голова владельца. Слуга, повар, кучер и приказчики отдельных частей, являясь из кухни и из задворных строений, так же свободно входили в дом за приказаниями и по делам домашнего обихода. Однажды только в это время полковника сильно огорчили некоторым громовым известием. На степь, перебитую им для своих овечьих стад у Шульцвейна на торгах, налетела с Кубани саранча и в два дня съела все камыши и травы. «Оборвалось! – сказал Панчуковский, – ну, да зато же немца в пыль стоптал!» И стада, вышедшие было из его хуторов на новые приволья, возвратились снова назад. Зато домашнее счастье выкупало теперь всякие потери, да и ожидался сбор с баснословного в крае посева пшеницы. «Сто тысяч дохода за глаза! – думал полковник, – за глаза!» Часто под вечер, высунувшись из окна кабинета в тень на воздух, когда солнце уже переливалось за другую часть красивого двухэтажного дома, кидал он на двор просо и кормил из своих рук голландок, кохинжинок, хохлатых разнородных кур собственного завода или сманивал к крыльцу, швыряя гарнием крупы, целые стаи голубей, водившихся на крыше каменной конюшни. Голуби кружились, садились по двору стадами или, насытившись у крылечка, вились над большими тополями, осенявшими

дом до верхушек окон второго этажа, полузакрытого ими. Ходила возле кур и голубей, ухмыляясь в счастье и в гордости хозяйки, одна подслеповатая батрачка, шестидесятилетняя добродушная карга, Домаха, также из беглых. В бегах она пребывала уже более сорока лет, мыкалась во многих местах и была рада, что сперва пристроилась в Новой Диканьке кухаркою нанятых рабочих, потом коровницей и, наконец, птичницей. Домаха была совершенно седая и даже с седыми кустоватыми бровями, отменно шедшими к ее темно-оливковому, южному морщинистому лицу. Она постоянно где-нибудь смиренно копалась, отличалась мягкостью нрава и голоса, исполняла молча все, что ей давали, заменяла и огородницу, и водоноса, и дворника. Хотя теперь у полковника во дворе, в отличных деревянных конурах содержались на цепи два злейших цербера, но полковник, поглядывая иногда на них и на Домаху, шутовски думал: «Нельзя ли уволить и собак, и их должность также поручить Домахе? Она, верно, и лаяла бы с усердием по ночам!»

Итак, следов пребывания Оксаны у Панчуковского не оказывалось.

– У! проклятое бурлачье! оно горой за него стоит! – говорили мелкие соседи, изредка еще толкуя о лихой дворне полковника, – точно вертеп Синей Бороды! Что попадет туда, пиши пропало: как в воду канет. То пробавлялся заходимыми по воле красавицами, из окольных, а тут уж, как черкес, воровать живьем стал... Шутовкин тоже украл, да не прячется; а этот еще хитрит!

Являлись даже нарочитые соглядатаи к полковнику. Приезжали, между прочим, брат Небольцев, естественная дрянь, сплетник, слабохарактерный подслеповатый игрок и гаденький мот, в долгах, как в паутине, с целью будто бы купить браковых овец у полковника, а собственно поглазеть и понюхать, не спрятана ли где-нибудь в Новой Диканьке похищенная воспитанница отца Павладия. Его приняли очень сухо, но вежливо, и он уехал, ничего не открыв. Являлись в Новую Диканьку, будто мимоездом, из Святодухова Кута и дьячок, и сам отец Павладий. Даже губернатор, говорят, прислал полковнику при энергической ноте, для сведения и ответа, безымянный донос о передержательстве беглых крестьянок и «неизвестно куда пропавшей воспитанницы священника Павладия Поморского». Панчуковский мастер был отписываться; ответил губернатору резко и умно, а вместе с тем частно послал исправнику три ящика отличных дорогих сигар. Но не мог полковник не обидеться на выходки соседей из более порядочного круга.

– Господа, довольно! – говорил он в одной компании, играя в банк третьи сутки, – всякая шутка должна иметь свой конец. Я прошу вас больше не упоминать при мне об этой истории. Она обижает и меня, и мой чин, и мое положение в свете. Я уже вышел из поры дюжинного волокитства... Я, господа, не черкес и не юнкер, а Владимир Алексеевич Панчуковский!

Если бы кто захотел, однако же, подлинно узнать о судьбе Оксаны, тому стоило только обратиться с вопросами к старому «чабану» на арендном хуторе полковника. В день, когда Панчуковский, проводив после торгов с хутора колониста, вошел за перегородку своей пустки, чабан к вечеру услышал невыразимые крики. Чей-то сперва сильный и громкий, потом тихий и слабый голос молил о пощаде...

Старый чабан, больной и дряхлый человек, а некогда музыкант, вторая скрипка какого-то князя, из беглых, собирался уже богу молиться после ужина и ложиться спать, как наконец обратил внимание на эти крики. Он вышел из своей хаты, постоял, послушал, и давно замершее сердце с силой застучало в его груди. Он сходил к овцам, воротился, крики стали смолкать. Кучер барина и другой батрак, наделенные, по обещанию, суммой на выпивку, весело ушли в овраг с квартой водки, привезенной с торгов. Старик стоял один. «Не мне, видно, старому забродчику, – подумал он, – не мне одному не было счастья на свете! То еще чья-то доля пропадает, коли не пропала!» Сел, уронил седую голову на колени и заплакал. А ночь была так

же восхитительна, и по-прежнему чудные, таинственные, обворожительные шорохи носились в воздухе окольных степей...

К ночи крики и голоса в пустке смолкли. А наутро полковник вышел веселый, как-то богатырски смелый, дал ближайшей прислуге опять на магарыч, Самуйлика оставил, а с батраком уехал. Немного погода наехал в эту неответную глушь, четверней в карете, будто барина привез, один Абдулка, побыл тут часа с три и к вечеру выехал. В карете окна были завешены. Чабан это видел с поля. «Не наше дело! – думал он, – не наше!» И тихо допасал свое стадо, тыкая палкою в траву, и, соображая, повторял, по обычаю, со скуки, счет прожитых им горемычных годов.

Полковник отлично устроился. Пленница его долго не смирялась, но потом, так же как и все на свете, смирилась. Кого не проберет железный коготь неволи и заточения? Ее поместили в уединенной комнатке дома Новой Диканьки, на мезонине. Разумеется, за нею ходила баба Домаха, и как кормила собак на привязи и кур по двору, с таким же молчаливым добродушием хлопотала она и возле убивавшейся господской пленницы.

– Что ты, мое сердце, стонешь все? глянь: вон тебе ленты новые купили, кофту суконную, юбки пошили! Чего плакать? И-и! в наши годы мы не то сносили! – говорила иной раз Домаха, взбираясь на вышку к Оксане.

– Душно, бабо! нельзя тут быть под этою крышею! От железа пар такой, духота как в бане, и это с утра до ночи, целую ночь мечешься! Хоть бы посвежее...

– Так зачем же ты противишься, неласкова к нему? Тебя и держит под замком. А то пошла бы себе уточкою по свободе.

Оксана отмалчивалась и только плакала.

– Да вы, бабо, хоть окошко мне отворите!

– Слуховое? Другого нет.

– Да хоть слуховое, для воздуха.

– Эге! А как выскочишь с крыши да сдуру еще расшибешься? На то оно и забито у нас железом, тут прежде панская казна, сказывают, была. Около двери и сундук стоял.

– Куда мне разбиваться и скакать с крыши! Пропала уж теперь совсем моя голова; куда мне идти? все от меня откажутся; и то я была сирота, а теперь чем стала?

Домаха качала головой.

– Сердце мое, сердце, одумайся! На что оно-то, что ты говоришь! Пан у нас добрый; побудь с ним годок-другой, он тебя в золото оденет. Вон и я была молода, наш барин сперва меня было отличил, а там и до дочек моих добрался. Так что ж? Поплакала, да и замолчала! Сказано, переможется...

– А зачем же вы, бабо, бежали да уж столько лет тут мыкаетесь в бурлаках, на чужбине?

– Э! про то уж я знаю!.. Видишь, сердце, скажу я тебе, пожалуй: я пана нашего любила и во всем ему была покорна; да пани наша старая меня допекла, как помер он, – от нее я и бежала... Я и бежала, сердце!

– Бабо, бабо! жгите меня лучше на углях, ставьте на стекла битые, только дайте мне домой воротиться, дайте там с горя моего помереть!

– Да ты же сирота, беглая, Оксана! куда тебе идти?

– Я про то уж знаю, бабо! Попросите барина, чтоб пустил меня; будет уж мне тут мучиться... будет!

– Не можно, Оксана, не можно, и пустые ты речи говоришь! а когда хочешь, вот тебе нитки и иголки, шей себе рубашки, ишь какого холста барин купил! голландского...

Домаха еще постояла, покачала головой и тихо ушла, недоумевая, как это, среди такой холи и роскоши, такая непокорность. Оксана плакала и, пока было светло, принималась без

всякого сознания шить, что ей давали. Она, ноя от тоски, думала о священнике, о привольной роще, о раkitнике; дитя Горпины мысленно качала... А Левенчук?

Перед захождением солнца Домаха несла ей ужинать всяких яств и питий вволю. Ничего не ела Оксана. «Левенчук, Левенчук! где ты?» – шептала она... Сумерки сгущались, месяц вырезывался перед слуховым окном, ступеньки по лестнице наверх скрипели под знакомыми шагами, и дверь в вышку Оксаны отворялась... «Это он!» – подумает Оксана, задрожав всем телом, и кинется в угол каморки. Как бы хотела она в ту минуту нож в руках держать!..

Несмотря на темноту, легко, однако, отыскивается и ее угол, и она сама. Глухая и пустынная окрестная степь и темная-темная ночь не слышат ничего, что делается и кроется в этом каменном доме, за этою высокою оградой.

К рассвету Владимир Алексеевич выходил опять на площадку лестницы, будил ногой спавшую у порога заветных дверей верную дуэнью Домаху, приказывал ей пуше глаза беречь пленницу и сходил вниз. Внизу же иногда его покорно ждали те же услужливые Лепорелло: Абдулка или Самуйлик. «Ну, – думает Домаха, – барин теперь остепенился – одну знает!» А Владимир Алексеевич, нередко в ту же ночь до утра, скакал с ними верхом на другое свиданье, в какой-нибудь уединенный казацкий или колонистский хутор, где ожидали его новые, путем долгих исканий купленные ласки чернобровой Катри, Одарки или голубоокой немецкой Каролинхен. Оксана не знала, что и прибрать в голову, когда он уходил от нее. Только сердце усиленно билось в ее груди, как у перепела, нежданно перемещенного с привольных диких нив, из пахучих гречих или прос в тесную плетеную клетку: сколько ни мечись, сколько ни стучай в сети глупую разбитую головою, не вырвешься, не порхнешь опять на вольную волю!

Были последние дни июля.

День клонился к вечеру. По полю без оглядки и без дороги спешил куда-то напрямик рослый, дюжий, загорелый и страшно запыленный парень в синем мешчанском жилете, в новой черной свитке и в серой барашковой шапке. Он изредка останавливался у косарских артелей, подходил, что-то порывисто спрашивал и поспешно уходил снова далее. При повороте на Святодухов Кут он остановился, как бы в раздумье, идти ли туда, или взять в сторону? Пошел было мимо, но одумался, махнул рукой и своротил опять туда. Отец Павладий столкнулся с ним у церковной ограды, идя зачем-то с ключами в церковь.

– Левенчук! Откуда?

– Я, батюшка...

Священник опомнился и более не спрашивал! Он молча пошел обратно в дом. Левенчук пошел за ним.

– Ну, вижу я, – начал, запыхавшись, священник, сев дома на крыльцо, – вижу, что ты, Харько, все знаешь!

– Знаю, батюшка!

– Где же ты это так долго был?

– Болен был, на пристани; чуть не умер.

– Да, ты похудел!..

В эти четыре долгие недели Левенчук точно похудел, но в то же время возмужал, будто вырос еще более и, загорев и покрасневшись от дороги, похорошел. Волосы скобкой, стриженные усы стали виднее: молодец молодцом.

– Что это в котомке у тебя? Где это ты так принарядился?

– Это подарки невесте и вам, батюшка! Да и как было не нарядиться, дожидаясь такого дня? Работы было вдоволь на пристанях, и выкуп готов – да невеста, должно стать, не готова, батюшка! А я-то и хатку уж себе сторговал на Поморье, тихим трудом замыслил жить с нею...

Священник замотал головою, всхлипывая и смотря на Харько в испуге и в смущении.

– Убью, батюшка! – сказал неожиданно Левенчук, ударивши котомкой оземь, – убью его, зарежу, как собаку!

Глаза его сверкали. Лицо побелело.

– А потом что будет? – спросил священник, сам не зная, что отвечать на эту угрозу.

– Что вам, батюшка, каяться, как на духу? – спросил в свой черед Левенчук.

– Говори, как на духу!

– Ну, я подожгу полковника, запалю его со всех концов, клуню, овчарню, все зажгу, убью его и на себя руки наложу. Вот что!

Священник прошелся по комнате.

– Ах ты, душегуб, душегуб, Харько!

– Я-то душегуб? Нет, не я, а он! Да что мне теперь, ну? Думал, в бегах счастье найду... И тут его прежде нас, дураков, забрали! Дураки мы, – вот что, батюшка! Право, дураки. Теперь я уж понял! Не то нам следует делать, вот что!

Священник встал, взял за полу Левенчука, повел его в спальню, разложил святой покров на столе, под образами, раскрыл на нем Евангелие и сказал:

– Беру с тебя присягу, Харитон: поклянись мне, что ничего того не сделаешь, на что повернулся нечестивый твой язык! Клянись, Харько! Я этого не попусти!

– Не буду я клясться, батюшка! Не буду!

– Клянись, Харько, клянись скорее, дурацкая твоя душа, а то донесу! ей-богу, донесу!

– Доносите, доносите! А мы на вас надеялись, как на отца родного; вы же нам, несчастным, беглым, советы давали, укрывали нас, кормили и обнадеживали нас...

– Я-то? Ах ты, глупец, дурак Харько! Когда я беглых держал? Да нет, ты не уйдешь от меня! Клянись, Харько! ты не понимаешь, что говоришь! Клянись! – повторял священник Левенчуку, указывая на святую книгу и сам между тем трухнув не на шутку. – Давай присягу, а то свяжу тебя и донесу...

Левенчук подошел.

– Так слушайте же, батюшка: вот что будет теперь. Бежал я с неводом от моря, как весть о пропаже Оксаны дошла туда с людьми. Поверите ли – все жалели, как я опрометью побежал оттуда! По пути, на перекрестках, на мостах, у переправ, везде жалели. Народ зашумел, грохочется, волнуется, – так мне ли терпеть? Два дня я бежал да вчера без души и упал в какой-то лощинке. Чабаны веберовские меня нашли, в корчму перенесли. Меня оттирали, кровь бросил один жидок... Вон рука моя еще и теперь перевязана; истомился я, а все-таки добежал до Ананьевки, а после до Андросовки. «Что, спрашиваю у людей, правда ли это?» – «Правда, отвечают, и все жалеют и там да на полковника указуют, – что греха не хотим брать на душу, некому больше! Это уж как змей лютый, как волк; кто попадет, съест наверно!» Так-то, батюшка, говорят про него люди.

Священник смотрел на него исподлобья. Он его и жалел, вместе и боялся.

– Так я уж, батюшка, вот теперь как надумал: пойду его просить: может, я его умолю, а может, не умолю, в ногах валяться буду! Не даст – не гневайтесь, батюшка... зарок свой я порешу...

Слезы бежали на подстриженные усы Харько.

Губы его тихо вздрагивали. Глаза тоскливо следили за священником. Священника передернуло, он взглянул в окно, закрыл книгу и сказал:

– Ну, коли так, так с богом; я надеюсь, что полковник отдаст тебе Оксану. Нет у меня тебе благословения на злое дело; пожалей и меня, мои старые-то годы! А я сам буду писать Панчуковскому... Авось он отдаст Оксану. Да берегись только! Видишь, вон, твоего же приятеля Милороденко отыскивают, не уцелеть ему – в каторгу сошлют, проклеймят, а все за его проделки! Вон и приметы его уже опубликованы. Так и с тобой тоже будет; берегись!

Священник сел, надел очки, с трудом написал письмо, открыл сундук, достал оттуда деньги и, заметя, что в комнате стояли уже в слезах дьячок и старая дьячиха, сказал:

– Вот тебе, Левенчук, это письмо; а вот и твои деньги; я грешен, я позарился на выкуп и задержал твое дело. Ну, да бог тебя благословит; достанешь ее – вежи, обвенчаю и так; не достанешь ее – не хочу твоего добра! Фендрихов, эти деньги вычеркни из книги той, знаешь? Им уже у нас не быть, на церковь-то...

– Где быть, ваше преподобие! Деньги несчастные!

Левенчук торжественно поклонился в ноги попу, даже поклонился и дьячку с дьячихой, вышел за двери, и не успела взволнованная компания выбежать на косогор, где так часто Оксана выжидала с поморья Левенчука, как и след Харько пропал.

– Что будет, то будет! – решил священник, возвращаясь домой.

– Ничего не будет, чувствую! – отвечал, всхлипывая, дьячок.

Дьячок ревмя плакал.

Шел Левенчук час-другой; солнце уже начинало садиться. Туман пошел яром. Вышел он на косогор и ударил себя в голову: «И тут не везет, треклятая доля. С дороги, на семи шагах сбился! Где же это я?» И он стал смотреть.

Стемнело. Дикие гуси вверху неслись к западу, чуть шелестя над его головою. Семья дроф, вспугнутых с ночлега, поднялась во ста шагах от него и побежала в сторону, мелькая между бурьянами. Ночные кузнечики трещали. Звезды зажигались. А в полуверсте огонек кто-то на ночь стал разводить...

Пошел Левенчук на огонек. Подходит: купеческая телега с товарами стоит; два купца на бурке лежат.

Лошади овес с оглобель из мешка едят, котелок каши варится на таганке. Поздоровался Левенчук с купцами, подсел к ним. Видят те, что он все вздыхает; выпрашивать стали. Рассказал все Левенчук, как от своей барыни бежал, как тут жил, как девку полюбил, и кто она такая, и как ее отца зарезали. Купцы переглянулись, стали живее его слушать. «Ну-ну, говори, миленький!» Все передал Левенчук об Оксане, что слышал от нее самой и от других, в том числе еще и от Милороденко, когда он впервые шел в эти места. «Куда же дели того зарезанного?» – спросил старший из купцов. «В Таганрог отвезли; там он и умер, полагать должно». Помолчали купцы, расспросили еще об Оксане, жалели о ней до крайности, советовали Харько обождать, не горячиться с хлопотами о ее спасении, направляли Левенчука с жалобой в суд и к градоначальнику и, наконец, посадив его силою с собою ужинать, объявили, что они сами торговцы, часто бывающие в азовских городах, торговали когда-то в Таганроге и в Севастополе, а теперь торгуют в Моршанске и что, если бы когда-нибудь Левенчук захотел бросить здешнюю бродячую жизнь, они ему предлагают место. «Дарма, что ты беглый! видим мы, что ты за человек; отпиши только, и мы тебя вызовем. А писать так-то и туда-то. Да коли женишься на Аксютке-то, то и с хозяйкою своею приезжай! – заключили купцы. – А как твоего грабителя прозывают?» – «Панчуковский». – «Уж не он ли? – сказал один из купцов. – Верно, он и есть, барыня его у нас в городе чуть ли не проживает...» Усталый и истерзанный душою донельзя, Левенчук заснул под телегою, а купцы, долго еще лежа у костерка, поодаль от него и от своего возницы, толковали промеж собою, все повторяя: «Он и есть; некому больше! Скажем его барыне, а то она, сердечная, сколько лет его разыскивает»...

IX

Беглые расшалились

Рано до света Харько вскочил, оглянулся. Купцов уже не было. Перекрестившись три раза на восход солнца, он сообразил свою дорогу и пошел по росистым еще сумеркам.

Щегольской домик Новой Диканьки вырезался перед ним, когда солнце стало уже всходить из-за красных кирпичных овчарен полковника.

Левенчук подошел к первой овчарне. Оттуда только что вышли овцы. Не найдя тут пастухов, он пошел к батрацким хатам. Из батраков кто умывался тут на дворе, кто богу молился у своего крыльца, земно кланяясь, а кто вел волов на водопой.

– Пан дома?

– Дома. А что тебе?

– В косари не нужно ли?

– А чего ж ты без косы?

– Бурлака, братцы!

– Так! Ну, иди же до конторщика. Там сегодня расчет за эту неделю.

«Воскресенье сегодня! а я и забыл!» – подумал Левенчук.

– Шинок у вас есть? – спросил он, усиливаясь быть развязным и веселым.

– Э, да ты, я вижу, хороший человек! Не угостишь ли?

– Можно. Где же тут у вас водка?

– Пойдем, пойдем! – ответил батрак, – откупщик тут всегда на косовичное время выставку ставит. Он приятель барину! Вот и шинок наш!

Левенчук вошел в хатенку, где была временная выставка водки и где полковник обратно собирал по субботам большую часть денег, платимых рабочим в течение недели. Харько поставил новому знакомому полкварты.

– Рано немного, – сказал жид-шинкарь, – да хорошим людям можно!

Слово за словом, Левенчук узнал нравы барского двора – и когда барин встает, где его видеть можно, кто у него в дворне.

– Ты только крепись, – говорил хмелевший товарищ, – требуй хозяйскую косу и полтину серебром в день! Трейбуй – дадут.

– Ну, братику, а девка та, – спросил Левенчук, усиленно переводя дыхание, – та... знаешь, что от попа?... тут она?

Подгулявший батрак осмотрелся по хате. Шинкаря не было в ту минуту у прилавка.

– Тут... ты только никому не говори...

– Где?

– Наверху у пана живет... шш!

Левенчук вскочил.

– Куда ты?

– Будет уж, допивай ты, а мне пора в контору...

Левенчук вышел. Народ, собиравшийся к расчету, подваливал к шинку. Левенчук пошел к дому и не узнал сперва полковнического двора: так этот двор изменился и уютно обстроился с той поры, как Харько сюда пришел впервые, неопытным бродягой и тут, встретившись с прогоревшим Милороденко, уступил ему свою порцию водки и тем ему сильно угодил.

Он ходил долго вокруг ограды, у ворот стоял, на мезонин смотрел. Видел он окна, вверху раскрытые, на балконе стул стоял. Он вошел во двор; прямо пошел к крыльцу и столкнулся на нем лицом к лицу с полковником.

– Ты косарь? – спросил рассеянно Панчуковский.

– Косарь.

– Очень рад, а это твой билет, что ли? – опять спросил Панчуковский, сося сигару и принимая от Харько письмо священника.

– Билет! – ответил Левенчук, сверкнувши глазами.

Панчуковский потянулся, взглянул на ясное, чудное утреннее небо, потом на первые строки письма – рука его дрогнула, он протер глаза, искоса посмотрел на Левенчука, дочитал,

слегка побледнев, письмо до конца и долго не мог сказать ни слова. Письмо состояло в следующем:

«Владимир Алексеевич! Не будем обманывать друг друга. Вам сошли прежние ваши истории. Вы теперь похитили мою Оксану. Это общий голос, не отрекайтесь; да и некому другому этого сделать. Умоляю вас, отдайте ее. Податель сего письма – ее жених, Харитон Левенчук, из таганрогских поселян. Отдайте девушку; вы уже ею, ваше высокоблагородие, насытились. Отдайте, пока она еще может быть им принята. Если прежние ваши действия остались безнаказанны, то за это новое – кара господня вас не пощадит. Богатство не спасет нигде до конца недоброго человека. Прахом пойдет оно у вас; вспомните глас старца, готового сойти в могилу. Эта кара близится. По духу же исповедника предупреждаю вас: не отдадите девушки, за последствия поручиться нельзя. Вам несдобровать! Послушайте меня. Ваш слуга *Павладий Поморский*».

Панчуковский постоял. Левенчук также не говорил ни слова.

– Отец Павладий ошибается! – сказал полковник, закусивши губу, – я этой девушки не знаю, и ее у меня нет.

Левенчук молчал.

– Ее у меня нет, и баста, слышишь? Скажи отцу Павладии, чтоб он ко мне не смел обращаться с такими письмами.

– Ваше высокоблагородие! – сказал, подступая, Левенчук, – какой вам выкуп дать за нее? Я попу соглашался выплатить за нее на церковь двести целковых, – возьмите триста; наймусь к вам в кабалу, в крепость за вами запишусь, – отдайте только мне ее!

Полковник пожал плечами и, оглянувшись, улыбнулся.

– Глуп ты, брат, и только! Глуп, и все тут!.. Ее у меня нет!

Левенчук повалился в ноги полковнику. Он понял сразу, что с этим человеком правдой не возьмешь, и потерялся, позабыл весь закал, весь пыл своего негодования и своей мести.

– Ваше... ваше высокоблагородие! – вопил он, ваяясь в пыли крыльца и целуя лаковые полусапожки Владимира Алексеевича, – я дома на родине похоронил жену молодую, и двух лет с ней не пожил; здесь нашел себе другую. Барин! Отдайте мне ее! За что вы отняли ее у меня, погубили до веку нас обоих!

– Да говорят же тебе, братец, что ее у меня нет... Какой ты!

– Будет уж вам с нею, ваше высокоблагородие! Не губите ее. Отдайте, вы уж ею натешились... Будем знать одни мы про то! Отдайте...

Панчуковский отступил.

– Ищи ее у меня везде, коли хочешь; иголка она, что ли! Ну, ну, ищи! Не веришь?

И он вошел в сени, распахнул дверь в лакейскую, а сам стоял на пороге.

Храбрость бросила Харько. Он встал, начал глупо вертеть в руках шапку.

– Ежели я... – сказал он, задыхаясь от спершихся в горле слез, – ежели я... хоть чем, то убей меня бог!.. Господи!

Полковник повернулся к нему спиной и ушел в комнаты, посвистывая.

Оглянувшись Левенчук по двору, повел рукой по снятой шапке, подошел к кухне, там еще постоял; во дворе не было ни души. Петухи заливались по задворью. Воробьи кучами перелетали с тополей на ограду. Левенчук пошел за ворота и сел там на лавочке.

Он сам не знал, что и думать. У шинка собирался народ. Конторщик пошел туда, а к барину в дом Абдулка рукомойник понес.

За ворота вышел, с трубкой в зубах, в белом фартуке и ухарски заложив руки в карманы, поваришка Антропка, тоже из беглых, малый лет двадцати трех, отъявленный негодяй, часто битый за воровство.

- Ты чего тут сидишь, сволочь? – отнесся он задорно к Левенчуку.
- Может, сволочь ты, – ответил Левенчук, утирая слезы, – а я за делом!
- За каким делом? проваливай! скамейка барская! вон, иродово отродье!
- А ты барский?
- Барский, полковницкий; я их холуй – значит, сторож; а ты убирайся вон, сибирный

твой род!

И Антропка столкнул Харько со скамьи. Левенчук пошел опять к воротам.

- Ты куда, говорят тебе?
- Дело есть.
- Не ходи, побью.
- Э! Посмотрим...
- Что? как? это, значит, к полковнику наниматься идешь, да еще и форсишь?

Антропка подбежал и загородил Харько дорогу в ворота.

- Не ходи, ударю в морду!
- Попробуй! – ответил Левенчук, опомнившись и чувствуя снова прилив злобы и ярости.
- Антропка ударил его в ухо. Левенчук зашатался и уронил шапку.
- А ну, еще! – сказал он, стоя бледный, как был, и выжидая нового удара.
- Бью! что же? ну, бью! – крикнул Антропка и опять ударил.
- А ну, еще!
- И еще бью! вот как!

Антропка ударил еще раз.

- А еще будет?
- Будет и еще! – крикнул Антропка, свистнувши снова в упорно-терпеливое ухо Харько.
- А! – зарычал в свой черед Левенчук, – теперь и ты уж держись; я тебе покажу, как

добрых людей даром бить!..

И, как буря, он кинулся на поварчонка, смял его, как клоч сена, сгреб под себя и стал его бить без милосердия по глазам, ушам и по затылку.

На неистовые вопли Антропки сбежалась вся дворня полковника, а мужчины и бабы его выручили.

– Кто это его, кто? – спросил Абдулка, явившись на подмогу другим, уже отливавшим водою до полусмерти избитого Антропку.

- Вот он!
- Кто это?
- А бог его знает кто! – отвечали бабы, указывая на Левенчука, входившего уже в шинок.
- Абдулка побежал за ним вдогонку и на бегу, в сенях шинка, спросил сбиравшихся коса-

рей:

- Где тут этот разбойник?
- Уж и разбойник! – разбойники те, что нанимают по два рубля, а расплачиваются по полтиннику! – ответили из толпы.

– Ты бил нашего повара? – запальчиво крикнул Абдулка, вскочив в шинок и с выкатившимися, расвирепевшими глазами став перед носом Левенчука.

- Я бил. Ну, а ты чего?

Лицо Харько было зелено, губы его дрожали.

– Э, до меня так скоро не доберешься! – крикнул татарин, озираясь по хате, куда уже, чуя грозу, начинали собираться любопытные с надворья.

- Посмотрим!
- Посмотрим!

Абдулка скинул поддевку.

- Выходи на простор, – закричал он, – выходи из хаты на простор!

Конторщик, бежавший сюда, стал было его останавливать.

– Не замай, Савельич, а то и тебе бока намну, – бешено зарычал Абдулка и вышел из хаты, сопровождаемый конторщиком и толпою и на ходу распоясываясь.

– Что это они до тебя? – спросили Харько оставшиеся в хате косари.

Левенчук бросил на стол три целковых.

– Пейте, братцы, за мою душу пейте! – сказал он тоскливо и вышел, также снимая свитку.

Не успел он показаться на дворе, как на него разом накинлись Абдулка, Самуилик и прежде побитый поварчук.

Первые двое стали его вязать, а озлобленный Антропка схватил полено и стал им бить Харько по чем попало.

Часть косарей приняла сторону Харько.

– Пустите его, что вы, душегубцы! ведите к барину, если он что сделал, – говорили косари. – Мы и сами пойдем жаловаться; нам расчет не тот дают!

– Нет, не поведем его туда! тут его живого в землю зароем! – бешено кричал Абдулка, колотя Левенчука.

Мигом Левенчука связали.

– В суд его, в стан! – горланила полковницкая дворня.

Побежали за телегой.

– Еще веревок! – кричал Абдулка. – А! ты в барский двор ходишь, да еще и дерешься! веревок еще! повозку скорее!

Привели лошадей, притащили повозку. Стали запрягать. Левенчук стоял связанный. Висок у него был расшиблен, и кровь текла из-под растрепанных темных волос. Антропка, опьяневший от бешенства и от прежде полученных побоев, ходил возле него и громко на все лады ругался. Бабы пугливо жались к стороне.

– Готово? – спросил отважно Абдулка, спешивший выиграть время, – мы и барина не станем беспокоить! в суд его, разбойника!

– Братцы! – громко крикнул косарям связанный Левенчук, – они меня побили, связали, в суд хотят везти! А сам барин ихний мою невесту украл... Я, братцы, Левенчук! Попова девка за меня просватана была... Она у полковника тут взаперти... в любовницах. Спасите, братцы! не дайте праведной душе погибнуть!.. Спасите!

– Ну, еще рассказывать! – начал Абдулка.

Последних слов Харько не договорил. Абдулка, Самуилик и Антропка схватили его и потащили к телеге, снова угощая побоями.

– Э, нет! – отозвался тот самый батрак, которого Харько угощал с утра, загородя им дорогу, – я сам пойду до барина! За что вы его бьете и тащите?..

– Да, да! за что? – говорили в толпе и косари, испуганными и озлобленными кучками сходясь к ним.

– Э, да что на них смотреть! тащи его! Самусь, садись, вези его! Антропка, бей по лошадям!

– Нет, не пущу! – сказал охмелевший батрак, загораживая лошадям дорогу.

Тут прибежали с криками остальные косари из шинка. Произошла общая свалка. Одни тащили Левенчука к повозке, другие отталкивали его назад. Весть о том, что это жених воспитанницы священника, украденной полковником, облетела всех.

– Нет, нет, теперь уж не троньте его, оставьте! – заговорили косари разом и оттеснили Левенчука от Абдулки.

Подгулявший батрак ударил по запряженным лошадям, гоня их с пустою телегой прочь. Самуилик кинулся их останавливать, а косари в суматохе совершенно отбили Харько, распутали ему руки и выпустили.

– Отдайте мою невесту! – сказал тогда бешено Левенчук, став перед слугами Панчуковского. Это уже был не прежний хуторский пастух. Степи изменили его.

Абдулка, повар и Самуйлик остались одни против остальных.

– Нет у нас никакой девки!

– Врешь, есть! она наверху у барина вашего живет! – кричал Левенчук.

– Отдавай, а то силой возьмем! – гудели косари.

– Вот что выкусите! – ответил Абдулка, показывая кукиш, и пошел с товарищами к барскому двору, очевидно, потеряв надежду овладеть обидчиком закадычного приятеля, Антропки.

Левенчук, утирая кровь с виска, сел на крыльцо шинка.

– Дайте, братцы, хоть трубки покурить, коли с нами так поступают. Собаки и те лучше нас стали жить на свете!

Приятель его, батрак, с форсом подал ему трубку, сел возле него и обнял его, заливаясь слезами.

Толпа между тем шумела: «Как! Быть не может! Так этого самого невесту? И им спускать? Не заступиться за него? Где же тому конец будет?»

– Пойди, братику, – сказал Харько батраку, откашливаясь и харкая кровью, – пойди, хоть осьмушку вынеси! Все печенки, ироды, отшибли! Ишь ты, кровь пошла...

Косари орали более и более.

Полковник между тем, уйдя от Левенчука, подбежал к окну в кабинете и долго следил из-за занавесок, пока непрошенный гость вышел за ворота. «Воротить его? Отдать ему разве Оксану?» – подумал он, но, почитав с полчаса газеты, успокоился, оставил дело так и пошел наверх к Оксане.

Оксана сидела в своей каморке, вышивая какую-то рубаху. Домаха сидела на полу возле нее, тоже что-то штопая.

– Оксана! хочешь домой? – спросил полковник.

Она не подняла глаз.

– Что, если бы за тобою пришли, бросила бы ты меня? Неужели бросила бы? – спросил полковник.

Оксана встала, сложила шитье и поклонилась в ноги Панчуковскому.

– Пане! пустите меня, заставьте вечно за себя бога молить!..

В исхудалом, нежном и кротком лице ее кровинки не было.

Панчуковский хотел что-то сказать и затих. С надворья раздался страшный гул голосов, и одно из окон в мезонине зазвенело.

– Береги ее! – успел только сказать Панчуковский Домахе и выбежал на балкон.

Едва Панчуковский вошел туда, как увидел, что перед запертыми уже на замок его воротами стоит куча народу, а Абдулка, Самуйлик и конторщик бранятся сквозь затворы.

День между тем, как часто бывает на юге, неожиданно изменился. Вместо жгучего, острого суховея, доносившего с утра под узорчатые жалюзи комнат сухой и волнистый шелест горящих в зное нив, небо стемнело, облака неслись густою грядой и накрапывал дождь.

– Что это? – громко спросил своих людей Панчуковский, склонясь через перила балкона.

– Косари взбунтовались, – робко ответил конторщик, – не хотят по полтиннику брать, требуют по два рубля.

– Ну, так гоните их взащей!

– Мы стали их гнать, а они в контору ворвались, стекла перебили, мы едва успели ворота запереть – все распяно...

– Ваше благородие! – смело крикнул кто-то из толпы, – отдай девку! а то плохо тебе будет!

Взглянул полковник: вся толпа в шапках стоит. «Эге», – подумал Панчуковский, сильно струхнул и медленно вошел в комнаты с балкона. Сойдя впопыхах вниз, он позвал к себе Абдулку.

– Что там такое? говори правду.

– Плохое дело! Косари перепились, а тут еще бурлака тот пришел, девчонку эту требует...

– Отдадим ее, Абдул! Черт с ней! Еще бы чего не наделали... Что они? в ворота ломились?

– Запалим! говорят. Да нет, Владимир Алексеич, не поддавайтесь. Коли что, так я и ружье заряджу и по ним выстрелю холостым, напугаем их, они и разбегутся!

– Что же вы? – гудела толпа за воротами, – где это видано, чтоб девок с поля таскать? Тут не антихристы какие! Мы найдем на вас расправу...

– Вон отсюда, подлецы! – закричал опять сквозь ворота Абдулка, не отпирая железного засова. – Что вы пришли сюда буянить? Вон отсюда!

– Ломай, братцы! Топоры сюда! – уже без памяти ревела толпа, – не дают, так ломай! Пробьемся и возьмем силою у живодеров!

И в ворота снова ударили чем-то тяжелым, а потом оттуда наперли кучею все разом. Схваченные и прокованные железными скобами ворота только слегка закрипели, но не подались.

Абдулка метался между тем, что было мочи, и ругался на все лады, грозя дерзким карою станового, исправника и самого губернатора.

– Что нам теперь исправники и ваши становые! Вы девку нашу отдайте! Тут наша воля, в степи-то нашей! До суда далеко! – выкрикивали голоса за воротами.

Полковник взбежал снова наверх. На площадке лестницы он натолкнулся на совершенно обезумевшую от страха Домаху. Старуха жевала что-то помертвевшими губами и, простоволосая, не успев накинуть на седую голову платка, дико смотрела на Панчуковского.

– Где она? – спросил полковник, идя поспешно мимо старухи.

– Там; это я ее заперла на ключ. Еще бы не выскочила к ним сдуру...

– Ну, береги же!

Он вошел в верхнюю комнату, бывшую к стороне ворот, и из-за притолоки окна увидел у ограды целый лагерь. Какие-то верховые явились... Народу было человек триста или более. Одни сидели, другие стояли или ходили кучками, как бы обсуждая, как исполнить затеянное. Трое лестницу какую-то с овчарни тащили. Остальные шли, разместившись по траве; горлалили все.

«Вот и поди, живи тут в этой необъятной Новороссии, – мыслил Владимир Алексеевич, – тут чистую осаду Трои выдержишь; успеют и взять тебя, и ограбить, и убить, пока дашь знать властям хоть весточкой! Думал ли я дожить до этого? А! вон еще что-то замышляют!...»

Прибежал наверх, запыхавшись, поваренок.

– Что ты, Антропка?

– Конторщик просит кассу в дом внести; неравно вломятся, боится, что растащут.

– Вломятся? в ворота? Что ты!

– Да-с.

– Ты почему думаешь?

– Стало, можно, коли между ними вон беглые ростовские неводчики появились и бунтуют, как бы чего по правде не было, ваше высокоблагородие.

Панчуковский еще раз глянул из-за притолоки. Новая картина открылась перед ним. Овцы его бродили врассыпную без пастухов. Шинкарь откупщика, зная уже нравы таких событий в степях, с еврейскою предусмотрительностью запрягал себе лошадь за хатую шинка. А из двух батрацких изб, спустившись тайком в лощину, бежали вдали, по пути к камышам на

Мертвую пятеро батраков, батрачки и мальчишки-табунщики потрусливее, со страху бросив в хатах и барское добро, и свои пожитки.

Панчуковский сошел снова вниз. В кабинете Абдулка быстро заряжал ружье.

– Вот я их! Я их!

И, зарядив, он пошел опять на балкон мезонина. Из толпы через ограду швыряли уже изредка камнями.

– Разойдитесь! – крикнул опять с балкона Абдулка. – Вас обманули; тут никакой девки нет! А плату сполна мы вам вышлем; только усмиритесь и не бунтуйте, братцы, вот что!

Град увесистых камней и побранок из толпы ответил на эти слова, через стены.

– Так стойте же! – крикнул Абдулка с балкона, приложился из ружья и выпалил.

Чей-то серенький конек заржал, побежал и, на пяти шагах споткнувшись, упал, убитый наповал в голову.

– Ты же говорил, что зарядишь холостым? – спросил, испугавшись, Панчуковский.

– Так им и надо-с! Шельмы, а не люди!

Осаждающие действительно были озадачены выстрелом, кинулись врассыпную и вдали, у хат и овчарен, снова стали собираться кучками. Кто-то громко грозил из толпы, что подожгут овчарни и батрацкие хаты. Другой топором помахивал издали.

«Что тут делать?» – думал полковник, ходя то вверх, то вниз по лестнице дома. Люди наскоро пообедали, и ему стали накрывать на стол.

– Есть у ворот сторожа, Абдул?

– Есть, Антропка с собаками караулит; я их с цепи спустил...

– Ну, как бы дать знать в стан либо в город? – спросил Панчуковский. – Я-то их не боюсь, да как бы не подожгли чего! Ведь такого дела и ожидать было трудно...

– Ночью разве Самойлу верхом пошлем, авось прорвется через них!

Встал полковник из-за стола. Пошел с Абдулкой опять наверх. Смотрят: к толпе осаждающих подъехал какой-то фургончик парой. Сидевший в нем о чем-то говорил с косарями. Вот собирается отъезжать, на дом полковника смотрит...

– Маши, Абдул, платком или хоть полотенцем помаши, авось заметят...

Сбежал Абдул за полотенцем, свесился с балкона и давай махать.

– Кажись, из фургона махнули! – сказал Абдулка.

– Это тебе показалось, уехали... Ну, что же мы теперь будем делать?

Осаждающие будто притихли к вечеру, пошли к шинку. Настала ночь. Разумеется, ночью не спала ни на волос вся дворня полковника, карауля везде, чтобы буяны не перебрались где во двор через стены или в ворота. Говорят, что сам полковник на цыпочках, в продолжение всей темной, сырой ночи, не раз обходил дозором все уголки двора, прислушивался к побранкам и к вольным песням неунимающихся буянов и три раза кормил собственными руками постоянно голодных до той поры сторожевых собак, и те с охрипшими от надрыва горлами лаяли и метались по двору всю ночь. «Вот так Русь! – думал полковник, – чего только в ней не бывает!»

Ночью, под предводительством Самуйлика, была сделана, в виде рекогносцировки, вылазка со стороны осажденных к колодцу. Партия смельчаков состояла из самого Самуйлика, двух кухарок, повара и прачки. Они очень осторожно вышли, миновали овраг. Но за ними ввязалась одна из цепных собак, наткнулась на сторожей у колодца, разлаялась, и их открыли. Поднялась тревога. От шинка двинулась куча в погоню. Смельчаки бежать. У самых ворот произошла свалка, и поварчука съездили сзади так по уху, что тот едва успел в ворота вскочить. Воцарилась снова тишина.

Ночью, страшно усталый, полковник вздремнул было на ходу, прилегши где-то в зале на диване. Вдруг его будят.

– Что такое?

Смотрит... Окна дома ярко освещены. В зале стоят также освещенные, бледные от испуга, его советчики, Абдулка и Самуйлик.

– Что это?

– Избы батрацкие горят, огонь к овчарням перебрасывается... Это они; тот-то бурлака, верно, поджег-с!

Молча взошел Панчуковский опять на балкон.

– Отдайте нам девку! девку отдайте! – доносились голоса сквозь дождь с пригорка.

– Фу ты, пропасть! – сказал, в свой черед, не выдержав, Панчуковский. – Да что же это со мной делается? Иди, Абдул, бери Оксану, отдай им... Вот не ожидал!

– Мы уже ходили к ней, Владимир Алексеич; да она сама теперь напугалась: сидит и дрожит; боится и выглянуть на эти чудеса.

– С чего же это все нам случилось, Абдул?

– Жид-шельма, должно быть, удрал со страху; они, верно, разбили бочку и перепились.

– Кричи же им, Абдул, что я все отдам: и Оксану, и деньги, какие просят, чтобы только унялись!

Стал опять кричать Абдул, ничего не выходит. И звонкий дотоле голос его едва долетал через ограду, в шуме и в реве пожара, истреблявшего батрацкие хаты. А от шинка неслись звуки бубна и песен, несмотря на дружный дождь, шедший с вечера. Но небывалая ночь кончилась. Стало светать. Густые туманы клубились вдали. Пожар не пошел далее.

От толпы подошла к воротам новая куча переговорщиков; все они были пьяны и едва стояли на ногах.

– Что вам?

– Мы до полковника... пустите; мы за делом...

– Зачем?

– Дайте нам девку нашу да бочку водки еще; мы уйдем.

– А кнутов? – закричал, не выдержав, Абдулка в щель ворот.

– Нет, теперь уж нас никто не тронет; мы бурлаки, а бурлаков турецкий салтан берет теперь под покров!

Такие толки действительно в то время ходили между беглыми.

Пока люди полковника переговаривались с пьяными депутатами, сам Панчуковский, совершенно растерянный, сидел у письменного стола.

– Не догадался я, забыл послать ночью верхового в город или хоть к соседям; кто-нибудь прорвался бы на добром коне. А сегодня уже поздно: они оцепили хутор кругом и, как видно, идут напролом! Поневоле тут и о голубиной почте вспомнишь.

Панчуковский написал наскоро письмо к Шутовкину, прося его дать знать об этих событиях в стан и в город, и позвал Самуйлика.

– Ну, Самуйлик, бери же лучшего коня да скачи к Мосею Ильичу на хутор, напролом; авось проскочешь... А ее я выпущу!

Вздохнул Самуйлик, вспоминая собственные советы и предостережения полковнику, когда тот замыслил об Оксане. Но не успел Панчуковский передать кучеру письма, как с надворья раздались новые крики.

– Что там? – спросил полковник и подбежал к окну.

– На ток, на ток! – ревела толпа, подваливая снова от шинка, – скирды зажигать! Не соглашаются, так на ток! Небось выдадут тогда! Валяй, а не то так и нивы запалим!

Опять загудели крики. Пьяные коноводы направлялись уже к току. Душа Владимира Алексеевича начинала уходить в пятки. Но в это время вдали, за косогором, звякнул колокольчик. Ближе звенит и ближе. Застучало сердце Панчуковского. Он вскочил и взбежал в сотый раз наверх. Разнокалиберный люд столпился у шинка. Раздались крики: «Исправник, исправник!» Не прошло и минуты, как толпа мигом пустилась врассыпную, кто по дороге, кто к овра-

гам, кто в недалекие камыши. Кто был с лошады, вскочил верхом; все пустились в разные стороны. В сизовой дали, из-за косогора, точно показалась бричка вскачь на обывательских. За нею, верхами же, скакали человек тридцать провожатых. То были понятые. Так всегда здесь в степи ездил на горячие следствия любимец околотка, исправник из отставных черноморских моряков, капитан-лейтенант Подкованцев. За ним, также вскачь, ехал еще зеленый фургон. С форсом подлетев к растворенным уже настежь воротам Панчуковского, Подкованцев остановился, скомандовал понятым: «Ловить остальных; кого захватите, в кандалы! лихо! марш!» – въехал во двор, вылез из брички, взошел, пошатываясь, на крыльцо и в сенях встретился с полковником, у которого, как говорится, лицо в это время обратилось в смятый, вынутый из кармана платок.

– Честь имею во всякое время, кстати и некстати, явиться другом! – бойко отрапортовал заливчатый капитан-лейтенант, постоянно бывший навеселе и говоривший всем помещикам своего округа «ты».

– Ах, как я рад вам! Избавитель мой!

Панчуковский обнял Подкованцева, поцеловал его, хотел вести в кабинет и остановился. За спиной станового стоял полупечально, полуослабившись, в той же знакомой синей куртке, рыжеватый гигант Шульцвейн.

– Какими судьбами? – тихо спросил, сильно покраснев, Панчуковский.

– Вы господину Шульцвейну обязаны своим освобождением от шалостей моих приятелей, беглых, если они вам что плохое сделали! – сказал Подкованцев.

Панчуковский в смущении протянул руку колонисту и указал ему на развалины сторевших и еще дымившихся изб.

– Да, – говорил, поглаживая усы, исправник, – меня господин Шульцвейн известил; он меня за Мертвою нашел! Эх, подлецы! кажется, мои беглые взаправду расшалились. Уж это извините; с ними тут не шути. Надо облавы опять по уезду учинить. Нуте, колонель¹⁰, теперь бюешки¹¹, пока моя команда кое-что сделает. Эйн вениг¹² коньячку! А не худо бы и манже¹³; я целых три дня ничего не ел, за этими мертвыми телами. Трех потрошил, лето – вонь... тьфу! Ты, впрочем, не удивляйся дерзости своих обидчиков; это у нас бывало прежде чаще. Одному еврею-с живому даже голову отпилили беспаспортники; я ее сам видел. Вотр санте!¹⁴ – прибавил исправник, выпивая стакан коньяку: – так-таки ее и отпилили пилой, да еще тупую; я ее и за бородку держал! Тут уж они в наготу-с!

Принесли закуску. Подкованцев уселся над икрой и над балыками.

Шульцвейн кряхтел, ухмыляясь, потирал себе румяные щеки и масляные кудри и, сильно переконфуженный, похаживал возле окон. Улучив минуту, он отозвал Панчуковского в стору.

– Скажите, пожалуйста, – начал он, с видимым участием схватив полковника за руку, – неужели это правда, за что поднялись на вас эти негодяи?

– Что такое? Я вас не понимаю.

– Да о девушке этой-то: говорят, что действительно вы ее похитили?

– Вы верите? Не грех вам?

– Как тут не верить? Я вот просто потерялся. Вы знаете, я свои степи часто объезжаю. Мой молодец вчера мимо вас ко мне спешил из Граубиндена, увидел здесь это дело, расспросил и прискакал ко мне, а я уж поспешил вот к исправнику.

¹⁰ Полковник (фр.).

¹¹ От фр. *buvouer* – пьющий, любитель выпить.

¹² Немного (нем.).

¹³ От фр. *manger* – есть.

¹⁴ Ваше здоровье! (фр.)

– Очень вам благодарен! Но могу вас уверить, что эти пущенные слухи – суший вздор. Я не похищал этой девушки, и ее у меня нет.

– За что же эти буйства, скажите, эти поджоги? Удивительно!

– Слышите? – спросил Панчуковский вместо ответа, обратясь к исправнику: – Шульцвейн удивляется, из-за каких это благ я подвергся тут такому насилию!

– Могу вас уверить, – отнесся через комнату Подкованцев, жуя во весь рот сочный донской балык, – за полковника я поручусь, ма фуа¹⁵, как за себя! Это мой искренний друг, и дебошей делать никогда он не был способен – пароль донёр!¹⁶

– За что же, однако, это толпа решилась на такие действия?

Панчуковский улыбнулся.

– Какой же вы чудак, почтеннейший мой! Не знаете вы здешнего народа! Мой конторщик сбавил цену на этих днях. Многие стали с половины недели, а пришли к расчету, – все одно захотели получить и подпили еще вдобавок. Шинкарь перепугался, ушел, а они бочку разбили. Что делать! На то наша Новороссия иногда Америкой зовется! Ее не подведешь под статью наших старых хуторов: что в Техасе творится, то и у нас в Южнобайрацком уезде.

– Именно не подведешь, – гаркнул, утираясь, Подкованцев – еще раз, вотр сante! А теперь, поманжекавши, можно и за дела... Ну что, Васильев?

На пороге залы показался рослый, бравый мужик. Это был любимый исправницкий сотский, как говорили о нем, тоже из беглых, давно приписавшихся в этом крае.

– Что, поймал еще кого?

– Шестерых изловили, ваше благородие, а остальные разбежались.

– Лови и остальных.

– Нельзя-с; в уезд господина Сандараки перебежали, граница-с тут за рекой...

– Вот и толкуйте с нашими обычаями; беда-с! Кого же поймали?

– Да из бунтовавших главного только не захватили. Он еще ночью бежал, рассказывают, в лиманы, к морю. Да он и в поджоге не участвовал-с, как показывают.

– Главный? Кто же он? Как о нем говорят?

– Будто бы из бурлаков-с, Левенчуком прозывается... Он за эту девку их высокоблагородия-с... за нее и буйствовал, и других подбил...

Подкованцев также подошел к полковнику, взял его под руку и отвел к окну.

– Экуте, моншер¹⁷. Ты мне скажи, по чистой совести: украл ты девку эту? ну, украл? Говори. Ты только скажи: я на нее взгляну только, а в деле ни-ни; как будто бы ее и не было... слышишь? Я только глазом одним взгляну!

– Ей-богу же, это все враки! никого у меня нет!

Подкованцев почесал за ухом. Серые глаза его были красны.

– Ну, Васильев, – обратился он к сотскому, – заковать арестованных и препроводить в город! Отпускай понятых из первой слободы, а там бери новых и так веди до места... Марш!

– Насчет же опять той лошади убитой, бурлацкой, – спросил сотский, – как прикажете? Это их человек убил...

– Как приказать? Сними с нее кожу, и баста!.. на сапоги тебе будет! Ведь тоже беглая!

– Теперь же мы в банчишку, сеньор! – весело заключил исправник по уходе сотского, обращаясь к хозяину. – А вы, мейн герр, хотите? – подмигнул он Шульцвейну.

– Нет, пора домой-с. В степь-с надо.

Колонист походил еще немного возле окон, взял шапку, простился и уехал, вздыхая.

¹⁵ Признаться (фр.).

¹⁶ Честное слово! (фр.)

¹⁷ Слушайте, мой милый (фр.)

Исправник же до поздней ночи попивал морской пунш, то есть ром с несколькими каплями воды, играл с Панчуковским в штос, выиграл десять червонцев, поцеловал хозяина в обе щеки, сказал: «Не унывай, Володя! мы дельцо обделаем и с виновных взыщем!» – и уехал, напевая романс: «Моряк, моряк, из всех рубак ты выше и храбрее».

– Адъё, милашка! – крикнул он Панчуковскому уж из-за ворот и прибавил: – Слушай, сердце! Мне часто в голову приходит: как я умру? своею смертью или не своею? Был я в походах с Нахимовым и чуму перенес... Бог весть! Стоит ли об этом думать!

– Как кому!

Исправник уехал.

– Ворота, однако, на запор отныне постоянно! – сказал полковник слугам, – благо, что отделались от одной беды; надо вперед остерегаться еще более...

– Аксютку же прикажете выпустить теперь? – спросил Абдулка по отъезде исправника, ухмыляясь и раздевая барина в кабинете.

Полковник развалился на диване и зевнул.

– Оксану-то?

– Да-с; что ее теперь держать? Мы разыщем другую...

– Нет! пусть, Абдул, она еще поживет. Я поеду пшеницу на хутора молотить, так ты ее тогда вперед доставишь... Да не забудь и самовар туда с провизией отправить, а то я тогда без чаю там просидел.

Полковник успокоился. События, однако, приняли иной, неожиданный, оборот.

Часть вторая В силках

Х

Новое лицо – помещица из России

Дни клонились к осени. Жиденские новороссийские садики по деревням становились еще беднее. Лист падал. Обитатели деревень более задерживались в домах. Комнатные цветы принимались с воздушных выставок обратно в дом за стекла. Из окон чаще гремели рояли. Книги северных журналов и газет читались более. На токах усерднее стучали молотилки.

– Ну-с, – спрашивал Панчуковского залихватский волокита, купец Шутовкин, встретившись с ним у кого-то из общих знакомых на пиршестве, – так ваша красавица чуть было вас не погубила?

– Да, был грешок. Что делать!

– Новую осаду Трои изволили выдержать?

– Выдержал, Мосей Ильич, пришлось испытать, нечего делать!

Они, после сытного обеда, гуляли в затихшем, но еще прелестном садике.

– Каково же драгоценное здравие вашей Елены-с? Я, чай, уже с овалцем теперь скоро будет? Моя же так давно уж с животиком переваливается.

Шутовкин сказал и, утираясь платком, засмеялся. Ему было душно. Вино и вкусный обед брали над ним силу.

– Ах вы, старый волокита! Не стыдно ли вам? У вас дети взрослые, учитель нанятой – почтенный студент... Смотрите, что о вас дамы толкуют, вы уж чересчур открыто действуете. Вон у меня тоже пленница живет, а так сокровенно, что никого не обижает, и все ездят ко мне...

– Не могу, не могу; это уж моя страсть к бабенкам ослепляет меня. Что мне свет? Живу здесь в волю-с!.. Я потому и о вашей спросил-с, извините меня... Я люблю дело начистоту, свечей не тушу никогда-с и ни при чем... Я ваших обрядов-с не соблюдаю. Раскольник-с, что делать!

– Смотрите, однако, не приударьте за моею! У меня нравы гарема; попадетесь – голову долой, и сейчас в мешок и в воду! Я ведь тоже сродни туркам тут сделался. Право, край у нас роскошный, привольный. Ведь сюда кто ни попадись, переменится. Люди тут какие-то другие становятся. Вот и с вами...

– Так, так, а все-таки, Владимир Алексеич, у меня крестины раньше ваших будут! – посмеивался Шутовкин, продолжая ходить с полковником по садовой дорожке, над обрывистым берегом Мертвой.

– Ах вы, забавник! Лучше покайтесь. Лучше скажите вашему учителю, что срок его должку подходит, чтобы вез его скорее для уплаты, кому следует, я поручитель, и у меня уж веда дело аккуратно...

Купец был на этот раз немало выпивши за обедом, снял на воздухе галстук, весело переваливался, шутил, пыхтел и беспрестанно ухмылялся. Сперва стал он рассказывать, как выгодно сбыв сало, потом об акциях заговорил, наконец спросил совершенно неожиданно:

– Послушайте, полковник: вас тут некоторые не любят, считают гордецом! Правда ли, тут болтают, будто вы не вдовец вовсе, а что у вас где-то... извините... на Волге там, в России-с... жена законная есть, и говорят даже еще, будто старая-престарая и злая? Ну, скажите

мне откровенно, правда это? Если правда, то поздравляю, дружище, отлично сделали, что бросили и ее, и наши старые российские места-с!..

Панчуковский вспыхнул и остановился. Он долго не мог прийти в себя от неожиданного вопроса приятеля, искоса посмотрел ему в глаза; но Шутовкин шел по-прежнему беспечно, будто ничего не сказал, переваливался и утирал отвисший, полный и потевший подбородок.

Панчуковский вздохнул и посмотрел на часы.

– Мосей Ильич!

– Ась? что вы?

Он копался с подтяжками.

– Я долго тут остаться не могу, мне надо ехать.

– Куда же вы?

– Позвольте... Вы спросили меня о такой вещи, такой, что я...

– Да вы не сердитесь, душенька! Ну, что же делать! Была жена, была... понимаете?... а теперь нету, и у вас Оксаночка живет. Тем только и разница между нами: я вполне кучу себе всласть, а вы частицей...

– Мосей Ильич, слушайте: если вы меня любите, прошу этого вздора никогда при мне не говорить! Ну-с... Слышите ли? Я не стерплю этого в другой раз! Понимаете? Я давно вдовец, – повторяю вам, вдовец... лишился жены: в цвете лет она умерла, бедняжка, и я оплакиваю ее день и ночь... Эта сплетня мне особенно неприятна, и я прошу вас, требую именем нашей дружбы, услуги моей вам, молю вас – не упоминать ни мне и никому здесь другому о ней никогда. Жена моя умерла, и все, что я имел, явившись сюда, есть завещанное мне ее состояние. Я сам точно никогда ничего не имел. Так перед такими женами-с надо благоговеть, а не шутить, и да будет стыдно тому, кто осмеивает подобные чувства!

Панчуковский сказал это дельно, твердо, огорченным голосом и даже отвернулся.

– Ну-ну, не сердись, колонель! Ведь я пошутил. Я вас люблю, крепко люблю. А с нынешним вашим домашним благополучием вас от души и от всего сердца-с поздравляю. Товарищи мои, портовые купцы, смеются, что я живу нараспашку. А бес их побери! Что, однако, у вас за новый случай произошел после этой стычки с косарями?

– Какой?

Полковник ходил еще взволнованный и кисло посматривал на обнаженные ветви сада.

– Да насчет вашего лакея, татарина этого.

– Ах да, правда! Вот случай, вот жалость! Бедняжку этого, Абдулку, я посылал за расчетом в городок, в хлебную контору. Он деньги привез; но дорогою где-то, несчастный, поел в шинке порченой соленой рыбы, приехал домой, мучился сутки и сгорел так, что ничего не могли сделать, и доктор был... Я доктора из города на подставных вызывал... Вы знаете, я сам готов околеть иной раз, а уже для людей я стараюсь. Тут у вас в Новороссии мы не помещики. Вольный труд здесь нашего брата поневоле очищает, делает человеком. И за это искреннее благодарение вашим чудным, привольным местам...

Полковник оживился, повеселел. Он добродушно стал разглядывать тихие туманные виды окрестных степей, открывшиеся перед ними с пригорка, на краю сада. Голос его звучал мягче.

– Что за прелестные места, Мосей Ильич, посмотрите: вон алексинская церковь белеет, верхушка ее чуть сверкает в тумане; вон чичибеевские курганы; вон обоз чумаков тянется... Ну, не счастье ли, не рай ли земной у нас?

– А вы на выборы собираетесь?

– Какой вы чудак! Что вы о выборах вспомнили?

– Да так-с. Часто я думаю, отчего это мы, купцы, исключены из дела земства-с...

Они прошли еще несколько по саду. Из дома звучала полька. Барышни затевали танцевать.

– Скажите, однако, какое несчастье! – продолжал Шутовкин, – я все о вашем слуге думаю... Значит, у вас теперь лакея нет? Вы ищете нового?

– Нашел уже; благодарю вас.

– Где? Вот и отлично-с.

– У немца Шульцвейна, молодца из его хутора, что он возле Дону нанял. Спасибо немцу, хоть этим мне удружил, – уступил. Я его усиленно просил. Приходилось хоть самому сапоги чистить. Он у него рассыльным с осени был, такой проворный, бойкий, хоть и немолодой уже, кажется, человек. Он им доволен был, да раскусил, что он беглый, и отпустил его. Честный немец беглых недолюбливает. Трусит, боится, не то что мы с вами...

– Не Митька Базарный? Я того знаю: вор...

– Нет, Аксентий Шкатулкин.

– Аксентий Шкатулкин! Позвольте, позвольте, я что-то припоминаю: не было ли о нем публикаций? Должно быть, были. Верно из неводчиков достал? Вы не слышали?

– А прах их побери! Я их не разбираю! У меня все почти беглыми идет работа; оно лучше и дешевле. Разве когда от этого пострадаю! Мой штат вольный, как вы знаете, милости просим всех! Я на моих беглых, как на гору, надеюсь. Ведь проведай обо мне петербургские журналисты, они меня за эти мои штуки со свету сгонят. Да что на них смотреть! Я, впрочем, как был в Питере, знакомство с ними шапочное вел. Славные люди, все бонвиваны. Бюрократы тамошние, однако, лучше, зреее и дельнее. А все-таки, Мосей Ильич, у нас лучше живется, чем у них. Не правда ли? Клад, а не земелька; уголок непочатый, своя Элебема и Висконсин: ведь так? Сколько вы, позвольте, за сало рассчитываете получить осенью?

– Да тысяч двенадцать серебреном опять в один раз получу.

– Ну, а я-с за мою пшеничку да за лен так тысяч сотенку целковых загребу... Ведь посев у меня теперь был сказочный-с. Так как же себя не побаловать бабенками после этого? Правда? В наших старых городах этих лакомств не знают настолько!

– Чуть, однако, беглые вас было не убили. Не мешало бы вам их побаиваться. Ну, да авось сойдет!

– Что мне их бояться! Деньги у меня припрятаны в таком местечке, что не скоро до них доберешься. В кабинете на стене и в спальне у кровати всегда готово оружие. Стены вокруг двора высокие, ворота надежные.

– Не в наружных ворах бывает опасность, дружище, а во внутренних. Вот что! Домашний враг опаснее всякого другого...

– Вы думаете? – Полковник оглянулся по саду. – Домашняя прислуга, – сказал он шепотом, – куплена у меня такими деньгами, о каких здешним скаредам-помещикам и в голову не придет никогда. Я на мою дворню, как на самого себя, надеюсь!

– Да уверены ли вы, например, в этом-то новом, все-таки повторяю, своем слуге?

– В Аксентии?

– Да-с, в Шкатулкине, что ли, как вы сказали?

Полковник улыбнулся и опять по привычке посмотрел вокруг себя.

– Это, скажу вам, камрад, такое чистое, добродушное, простое и глуповатое создание, что прелесть! На днях я по ошибке дал ему для размена сторублевую вместо десятирублевой депозитки, впотьмах. Что же бы вы думали? Принес из алексинского шинка, смеется и говорит: вы только, барин, молчите, а мелочи дали лишних девяносто целковых. Я, разумеется, рассчитал свои деньги, вижу, что лишнего ничего не было. Но какова приверженность! А?..

– Радуйтесь, что и говорить! Но лучше берегитесь; знаете, какие слухи ходят: уезд наш наполнен фальшивыми монетчиками; на Сиваше, за Арбатской Стрелкой, разбойник настоящий показался; бродяги по донским дорогам пошаливать стали; почту уж с конвоем отправляют...

– Я спокоен и вам советую бросить лишние страхи.

– А ваша осада? Не подвернись приказчик Шульцвейна, не уведошь он исправника – ведь вы пропали бы даром, как муха-с...

– О, вздор какой!

– Вздор, подите же! А я повторяю, не будь у нас все так-то-с на Руси, где еще нагайка десятского да зычный крик капитан-лейтенанта Подкованцева-с тысячную толпу способны рассеять, аки ветерок облачка-с во поднебесье, то сослужили бы мы по вас панихиду-с, Владимир Алексеич!

Панчуковский, поглядывая с пригорка, откуда и его Новая Диканька виднелась, курил сигару и посмеивался.

– Вы смеетесь?

– Да, смеюсь, потому что наша чернь еще глупа, тупа и безобразна.

– Не шутите, полковник, с нашими тихими и добрыми мужичками, не употребляйте во зло их кротости и смирения-с. Я сам из мужичков-с, честь имею доложиться...

– Вы, Мосей Ильич? Вы... происхождением?..

– Да, я-с, я был сибирским-с ямщиком, в юности в бабки игрывал, секали меня; землю пахивал своими собственными руками...

– Вы, вы?

– Я, я-с!

– Вот не ожидал...

И полковник невольно окинул глазами Шутовкина с головы до ног, будто впервые его видел.

– Чай, с презрением-с считаете меня дураком и за раскол-с? Дело нерешенное, ваше высокоблагородие. А я никому вреда не делаю. Заводы мои идут отлично! я на армию свечи поставляю, в гильдию плачу; вон три воскресных школы на свой кошт соорудил в здешних городах и их содержу; книжек пропасть покупаю в Питере, хоть сам малость читаю; библиотеку в деревне у себя сочинить успел, – заезжайте только читать! Картин из Москвы навез, почти всю выставку в последний раз там закупил, журналисту тоже там одному беднячку малую толику дал... Да-с. А войди ко мне в дом, на хуторе, где я живу, чего там только нет? И статуи из Греции-с, в магазине в Одессе купил, и фортепьян двое; цветы, ковры, бронза, всякие украшения, яства-с тончайшие, вина... Учителя-молодца держу при детях, вы его достаточно знаете, школу их, чтоб не дураками вышли; в Москву в университет повезу и тут же во здравие их новую там жертву, что ли для науки этой, соболаговторю... А? Что? Чем же я не человек-то теперь, ваше высокоблагородие? Разве что в чинах только не произошел ничуть да в сенатских книгах помещиком не прописан...

Шутовкин разгорячился. За шейным платком снял сюртук, а наконец и жилет. Несмотря на серый денек, ему было нестерпимо душно. Он сел на лавочку.

– Эка душно-то мне, душно! Природа уж у меня такая сильная. Я и девочку эту не из блажи какой похитил. Что делать! Слаб есмь человек, да и все тут! Ну, а как Русь-то наша в опасности, не дай бог, очутится? Кто больше сыпнет деньгами-то? Я или вы, ваше высокоблагородие? Ну-ка, решите? Что?..

Полковник ничего на это не ответил. Пошли приятели дальше по дорожке. Вечерело. Шутовкин опять оделся; сполз, пошатываясь, с берега к реке, умылся, освежился и окончательно стал молодцом.

– Толстяк, жирный волокита! Так-то вы меня все и зовете! А моя барышня у меня на свободе вон ходит, в почете и уважении. А ваша? за что вы ее томите одну? Хоть бы их познакомить нам, душечка, что ли?

– Чудак вы, право! Ваше положение и мое! Это два разные света. Не могу я так шутить своими отношениями к людям, как вы.

– Не можете? Гм!..

Шутовкин посвистал и опять сел на скамеечку.

– А правда, что вы уж и ребрушки помяли вашей красавице?

– Опять сплетни! Да оставьте их, ради бога; то о живой будто бы жене моей, то опять о каких-то моих жестокостях! И кто это вам мелет?

– Та-та-та! На-поди! Будто я уж вас и не знаю, камрад! Ведь вы зверь лютый; ну, что нежничать-то! Теперь вот я мелю с похмелья. А тверезый я этого, может быть, и не сказал бы вам.

Приятели еще потолковали и пошли в дом, где подали уже свечи.

Намеки Шутовкина, однако, остались не без последствий для полковника. Панчуковский стал еще осторожнее с знакомыми. В это время ему прислали из Вены и из Парижа множество вещей для последней отделки дома: бронзы, деревянных резных поделок, обоев, тканей, зеркал и ковров. Русский человек уже не может обойтись без того, чтобы, мало-мальски устроив свои дела, не затеять отделывать и превратить свой дом в подобие луврского дворца или, по крайней мере, магазина мануфактурных изделий, причем первые бранные барыши, потраченные с таким умом, обыкновенно на этом убивают и самое дело. Соседи съезжались теперь снова смотреть на диковинки полковника. Он был на вершине блаженства и, указывая на разгружаемые транспорты ящиков с мебелью, зеркалами, фарфором и бронзами, повторял:

– Да, господа, я не мот, но человек земли, праха... Люблю пожить, люблю довольство за его поэтические лучшие стороны. Уж на пустяки я денег не брошу; зато эти у меня разные-с дубовые, ореховые и березовые столики, кресла и диванчики – прямо от Кейзерлинга из Вены; эти подражания гобеленам – из Парижа... Все здесь чудеса рук первых артистов!

– Вам бы жениться, жениться! – повторяли старушки-болтушки из соседок, всегда падкие подкузьмить ближнего какой-нибудь застарелой внучкой или золотушной и кислой племянницей.

– О! Владимиру Алексеичу некогда о таком вздоре думать, о женитьбе; у него столько дела, хлопот! – говорили тут же на это сами внучки и племянницы, лорнируя мебель, бронзы и гобелены, но в то же время не забывая изредка обратить лорнет, будто бы нечаянно, и на щегольской сюртучок самого полковника, на его лаковые полусапожки, затейливую часовую цепь, с колчаном стрел и с луком купидона между кучею брелочков, а еще более взглядывали они на его убийственные раздушенные усики и на нежно-томные, губительные и вместе ласковые глазки, когда он стоял между ними и ораторствовал.

Женский пол, в знак особого уважения, не переставал посещать, в сопровождении мужского пола, счастливого обитателя вновь созданного в этой глуши хутора Новой Диканьки. А полковник не переставал ликовать.

– Что старая Диканька! – говорили некоторые из его друзей, – что из того, что ее вместе с старосветскою умирающею Украиною воспел Гоголь! Эта старосветская Украина была когда-то хороша! Теперь это все еще милая, но уже печальная и пустынная могила... Жизнь здесь, а не там, здесь, у нас, в нашей Новороссии! Здесь все надежды юга! Отсюда выйдет его будущность. Давно ли вот на этом самом месте один ветер пустынный бродил, бурьяны, ковыль да чертополох произрастали, перекаати-поле прыгало; а теперь тут мигом вырос поселок, явился чудный дом, оживленное общество шумит, веселится, рояль гремит, чудеса света сюда стекаются.

– Искусственный плод все это! – замечали другие.

– Жениться, жениться, жениться вам! – продолжали в то же время шушукать полковнику болтушки-старушки.

На их улыбки улыбался и он, по-прежнему ораторствовал, шутил, спорил и пускался в объяснение живейших вопросов современности.

– Это не человек! Нет, это какое-то божество! – говорили о нем дамы, возвращаясь иной раз с веселой прогулки целым обществом в Новую Диканьку.

– Ну, божество не божество, – возражали суровые мужчины, нагруженные всякими яствами и тонкими питиями до отвалу, – а человек он точно хороший. Главное – товарищ отличный; дока на дела и вместе не спесив.

Гости уезжали. Полковник садился за счеты, соображения, пускался бродить и ездить по хозяйству.

«Еще таких года два-три, – думал он, раскинувшись иной раз в кабинете на диванчике, с сигарой в зубах, – и я буду в полумиллионе чистого капитала! Тогда я произведу расчет всем делам, все мелочное обращу в наличные деньги – и... куда же тогда? В Петербург? Да, многим там можно будет пыли пустить в глаза таким капиталом! Сперва поважничая, вечера устрою там, вторники, что ли, или четверги. В финансовый мир попаду, станут ко мне ездить все действительные да тайные... Предлагать станут места... Разве в губернаторы тогда куда-нибудь поехать на время?... Еще в министры так, пожалуй, попадешь... Вот, черт возьми, счастье! Да и женщин новых увидим! А дела пойдут все лучше и шире; устрою какое-нибудь общество на юге... Нет, Диканьки моей тогда не продам... А не лучше ли на старость куда-нибудь в чужие края, на Лако-ди-Комо или в Байский залив по пути сластолюбивых счастливцев, римских императоров?... В Диканьку мою станут путешественники съезжаться, смотреть на ее устройство... И как подумаешь, все дело рук одного человека... одного!»

– Барин, барышня прогуляться просится, – прерывал часто в такие мгновения мечты полковника новый слуга его, Аксен Шкатулкин.

Вслед за этим слугою и вся дворня начала Оксану звать уже барышней.

– Прогуляться? Что? Я не расслышал, Аксентий...

– Да-с, на воздух-с. Затомилась, должно быть, наверху...

– А! хорошо; иди ты с нею, побереги ее там, знаешь, пока...

Лестница тихо скрипела. В платочке, бледная, тихая, но такая же, как была, хорошенькая, Оксана пугливо и бережно спускалась с своей вышки, с мезонина, и шла освежиться за ворота, а когда не ожидали гостей, то и далее, в поле и к овчарням.

Ревнивый, или скорее чопорно-скрытный с товарищами, Панчуковский вовсе между тем не скрывался от своей дворни. Оберегательница Оксаны, старуха Домаха, иногда прихварывала, и полковник отпускал свою пленницу гулять либо с кучером Самойлой, либо с новым слугой Аксеном. Самойло и в прогулках не покидал своего мрачного настроения, беспрестанно вздыхал, бормотал себе под нос не то молитвы, не то упреки и жалобы на свое горемычное положение, что вот живет он теперь, как пес бездомный, что у него виду-то божьего нет, то есть паспорта, что заставляют его иногда нехорошие дела делать, и уж тут хоть что ни говори, а приказания барина послушаться не следует, и что кто его и похоронит-то, когда он тут без вести пропадет, без толку мыкаясь, а что в России у него и женушка брошена, и детки малые там есть, верно, плачутся на него, житье свое бесталанное и беспомощное проклинают... Воркун был Самойло большой, на грудь он часто жаловался, что лошади полковника его как-то раз побили, когда он их наскакивал в четверне. Походит Самойло с Оксаной за воротами, кнутиком по траве помашет и воротится. Скучно ей было ходить с ним.

– Дядюшка, пойдемте хоть чуточку дальше, вон к овчарням, либо хоть к тому вон колодцу дойдем! – говорила Оксана, похаживая по травке.

– Нельзя, сердце, нельзя! Барин увидит; пора уж и домой. Теперь тоже ходи с тобой, а там лошадей пора кормить, коляску помыть надо непременно.

– Ах, какой же вы, дядюшка Самойло Осипыч! Ну, хоть вон на тот пригорочек, дайте я сама добегу. Ноги дайте размять, сердце мое, вся душа во мне изныла... Какой он вам барин!

– Нельзя, о, и не говори лучше! Барин морду побьет: тебе ничего, а мне каково, как уйдешь?

– Да что же каково-то?

– Да как ты убежишь, говорю, от меня вовсе-то?

– Куда? Я? Бог с вами, дядюшка! И что вам приснилось!

Самойло не сдавался и ворчал поминутно, не покидая Оксаны и подозрительно поглядывая на свою спутницу. Оксана начинала плакать.

– Постылая-постылая, проклятая жизнь! Боже, господи, – говорила она, – хоть смерть пошли, хоть кару какую небесную, болезнь – чтоб я ослепла, горя своего не видала; чтоб красота моя пропала, чтоб и не смотрел он больше на меня, отказался бы от меня!..

Самойло вынимал из-за сапога трубку, набивал ее и, поглаживая седую широкую бороду, начинал дымить любимый тютюнец. Оксана смотрела вдаль. Слезы душили ее. Она старалась в сизом тумане разглядеть если не самый Святодухов Кут, то хоть бы путь к нему, хотя бы, среди печальных и обнаженных нив и сенокосов, холмов и лощинок, затерянную туда степную дорожку. По этой самой дорожке еще так недавно летел полный надежд на барыши студент Михайлов, невольная причина ее печального похищения. Вспоминаются Оксане еще недавние любимые ее песни, которым ее учила старая дьячиха. Она старается запеть их, стоя поодаль от Самойлы на пригорке, за оградой дома, но слова и голос ей не служат. И песни-то она будто уже все забыла. Она усиливается, напевает... Голос ее дрожит.

– Э, сердце! Да ты песни хорошие знаешь! Спой-ка еще, спой; я барину скажу, ты и ему запой, он тебе подарит что-нибудь.

Оксана Самойле отвешивала низкий поклон.

– Оставьте меня, дядюшка, увольте! Коли я жива, то не томите, меня в гроб заранее не гоните! Пропала моя честь, и душенька моя распропала... горько-с!

– Да разве тебе плохо тут жить-то, разве тебя не холят все? Или ты его и взаправду не любишь?

– Не спрашивайте меня про это; про это доля моя знает, бедная, горемычная... Маюсь я так-то у вас, почитай, как неживая...

Дважды, впрочем, в первые месяцы пыталась Оксана убежать. Один раз нашли ее на сеновале, куда она спряталась было, как-то уйдя до зари сверху из дому и ожидая, пока ворота отпрут. Потом она тайком переоделась в платье Домахи, повязалась ее старым платком, накинула на плечи ее шубейку и с ведром так дошла было уже до колодца. Но тут узнал и воротил ее поваренок Антропка. Сильно она просилась у него, молила его, кланялась ему, обещаясь заплатить за свой побег.

– Э, сволочь! – заключил на эти вопли Антропка, – еще на вас смотреть! С жиру беситесь! Марш назад, к барину-то! Чего слезы распустила! Туда же, в недотроги мостится!

И он ее силой воротил, притащив в самый кабинет полковника, которого, впрочем, тогда дома не было. Строгости надзора над Оксаною не прекращались.

– Пока она у меня, всем вам двойное жалованье, – решил Панчуковский, созвавший всю дворню по случаю этого второго приключения, – слышите? всем двойное жалованье, сколько бы времени тут ни прожила.

– Слышим, будем стараться-с!

– А тебе, Антропка, вот... за услугу!

Полковник бросил Антропке депозитку. Тот ему ручку поцеловал.

– Так я же, смотрите, не шучу. А уйдет, всех долой прогоню... Слышите?

– Будьте спокойны-с; мы уж не выпустим Оксанки-с.

– Да языки держите тоже на привязи; а выйдет что-нибудь какая сплётка, – кроме того, что прогоню, еще вздую. Слышите? плети! Ведь вы меня знаете.

– Слушаем-с, как не знать! – ухмылялась беспаспортная дворня.

– То-то же!

Полковник в тот же вечер, после нового побега, отправился наверх к беглянке.

– А тебе, плутовка, не стыдно? бросать меня, а? Ну, скажи, не стыдно? Что тебе отец-то Павладий? Лучше тебе там жилось, что ли, как ты там стряпала, дрова да воду носила?

Молчание.

– Домаха, уйди отсюда...

Домаха вышла за двери. Полковник с Оксаной остались одни.

– Оксаночка, не стыдно ли? Ты здесь, как у матери, в холе! А бросишь меня, – ведь я поймаю, что тогда будет? Ведь я со дна моря найду тебя опять!

Опять молчание. Полковник треплет пленницу по щеке, обнимает ее, целует, на колени к себе посадил.

– Ведь я тебя не упусти больше; ни-ни! извини уже, шалишь! Никому тебя не отдам...

Новое молчание.

– А поймаю – извини: на конюшне, душечка, высеку... О, я злой на это! Чик-чик, чик-чик! да!..

Оксана становится блее стены. Полковник обнимает ее еще крепче.

– Да, уж за это извини, я не люблю шутить! У меня будь, мое сердце, покорна – озолочу тебя, а непокорна – и сам прогоню, только прежде розочек всыплю... Ну, что же ты молчишь? Целуй же меня, ну, обними!.. Вот так! да крепче, крепче... еще!

«Боже, господи! Хоть бы ты убил меня тут! – думает Оксана, обнимая полковника, – или хоть бы я на это змеей была, чтоб от моих губ-то он сырою землю почернел!»

– Да что же ты молчишь, насупилась, будто сердилась на меня? Э! Я этого тоже не люблю, ты знаешь! Ну, коли убежать хотела и тебя простили, так смейся! Смейся же, говорю тебе, смейся!.. Вот так, так... Ну, а теперь опять целуй!.. так! и опять смейся!.. Покоришься, будешь по воле жить... у меня тоже мешаночка такая была!..

Оксана сквозь слезы обнимала Панчуковского, приневоленная, ластилась к нему, скрывала горе и муки свои. А когда она оставалась одна, то рыдала, весь свет проклиная; ей особенно мучительными казались немые стены ее вышки, и она долго-долго, сама не зная о чем думает, смотрела все на узенькое окошко с железной решеткой в своей комнатке да на двери, будто все ожидая кого-то и будто не веря еще, чтобы ее мучению не могло быть когда-нибудь неожиданного конца.

Зато с новым слугою полковника Оксана любила гулять в те дни, когда более и более хиревшая оберегательница ее Домаха не сходила по целым дням с своего коврика, от ее дверей, из темного уголка на верхней площадке лестницы. Аксентий Шкатулкин был человек уже не первой молодости, сильно потертый, как видно, и помятый жизнью. Он держал себя весело, но вместе с тем как-то степенно и набожно, как многие русские люди, окончательно положившие перейти от широкой и загульной жизни к покаянию, если только этому покаянию выпадало на долю действительно когда-нибудь осуществиться. Он ходил чистенько, не пил, не шумел, не бегал в шинок, тотчас сошелся со всею дворнею и часто молился вслух, особенно на сон грядущий. В его полотняной сумочке, когда он смиренно припелся от Шульцвейна к полковнику, оказались и были замечены дворней кожаный бубен с погремушками и святцы.

– Да вы, почитай, не из духовных ли? – допрашивали его на первых порах дворовые полковника.

– О, никак нет-с! о, ей-же-богу, нет! Я простой-с... человечек так себе-с...

– Так, верно, вы из музыкантов чьих-нибудь, того-с, тягу дали?..

– О нет! и это, ей-же-богу, нет! и не из музыкантов.

– Так зачем же вам бубен да святцы?

– Когда мне скучно бывает, я помолюсь; когда же весело – в бубен поиграю...

– Брррраво! – закричал на это кто-то из батраков, – таких-то нам и надо!

Оксана, повторяем, не отказывалась гулять с Аксентием. Уйдет с ним за ворота, а там к батрацким избам, к овчарням, к колодезю, а часто и в поле. Сядет с ним на пригорке, слушает его, смотрит в степь на поля, как там на зиму под жито пашут, вороны за плугом ходят, или сама что-нибудь говорит Шкатулкину, облегчая душу.

– Вы вот, дядюшка Аксентий Данилыч, не то, что наш Самойло Осипыч.

– А как-с так, моя царица? говорите.

– Да вы вон тоже приставлены, а добрее его.

– Вы полагаете-с? Быть тому не может-с! Так ли?

– О как же! И еще я-с впервые, можно сказать, вижу такую услужливость, хоть вы и стары-с, дяденька.

– Вы полагаете? Так-с! пусть я стар. А вы бы меня полюбили, коли бы я, примером сказать, не холуй был, а тоже, положим, полковник-с? Отвечайте на это, барышня, а?..

Оксана повеселеет от шуток Аксентия и часто, бывало, шутит с ним, смеется от души. Они в поле и в карты на виду у всех играли. Либо Оксана шьет, а Шкатулкин сядет против нее поодаль на корточках да посвистывает, в бубен играет. Полковник сам это видел иногда с балкона и хвалил Шкатулкина за услужливость.

– Вы, барышня, сиротка-с? – спрашивал Аксентий.

– Да-с. А вы?

– У меня не спрашивайте. Я непотребен-с...

– Как-с, непотребны? Это как-с?

– Я бродяга-с чуть не сызмальства. Отца-мать хоть и помню, да что толку? Мало они меня учили, что таким дураком стал.

– Жаль вас, жаль, дяденька...

– Да что меня жалеть-то? Говорю вам, что я никуда не годен-с стал. Вы вот лучше, барышня, скажите... правда ли это, что вы... дочь убитого беглого-с бедняка, бурлачка-с?.. того вот, что тут неподалечку когда-то был зарезан, тоже... извините... другим бродягой-с!

– Правда... ох, правда, дядюшка! я самая и есть... А вам меня жалко? Кто вам сказывал?

Шкатулкин мялся на месте, закидывался навзничь, посвистывал и опять вставал. День вечерел. Они сидели у колодца, над оврагом, в виду широкой зеленой поляны, по которой паслись овцы и лениво ходил пастух.

– Мне-то вас жалко ли? – замечал Аксентий, оглядываясь, – мне-то жалко ли?

– Да-с.

– Еще бы вас не жалеть-с, когда я... так сказать... с вашим батюшкой, выходит... с тем-то вот, значит, с зарезанным...

– Ну, ну?

– Я с ним, с вами, выходит, вместе и шел в это-то место, когда впервые бежал из России...

– Так вы, дядюшка?..

– Э! уж вы, барышня, и допрашивать? Скоро больно! Я только говорю вам, знал вашего покойника батюшку и мертвым его видел, как хоронили его, бедняка, в Таганроге; в больнице он и умер-с... А вас вот только девочкою видел... Только вы никому ни слова про то, слышите? А то меня откроют. Ведь я тоже несчастный-с, в бегах от господ... Я и убежал сюда. А вы молчите: что толку-то сказать! Я вам не помогу... Моему же барину, полковнику, я ныне привержен, аки раб рабский, и готов за него в огонь и в воду-с.

Читатель, разумеется, уже угадал, что Аксентий Шкатулкин был не кто иной, как давно нами оставленный Милороденко, некогда друг и вожак Левенчука! Судьбе угодно было, чтобы в новых подвигах своих, спасаясь от поисков нахичеванской полиции, он попал теперь именно в дом главного свата всех беглых в крае, Панчуковского, чтобы встретиться у него с Оксаной, о детской судьбе которой первый он же передал когда-то бедному Левенчуку, идя с ним глухими дорожками на юг в степное приволье. И этой же судьбе, наконец, угодно было, чтобы Панчуковский, получив газеты от своего кровного недруга, отца Павладия, не прочитал в них публикации о последних беглых с описанием примет Милороденко и его страсти к светскому разговору.

Оксана между тем сильно обрадовалась, что встретилась с человеком, хоть и преданным ее губителю-полковнику, но, как видно, с добрым, честным, разговорчивым и жалостливым. Ее радовало на ее скуке и то, что между нею и слугою полковника затеялось даже и нечто сокровенное, тайна завелась; он видел ее когда-то в детстве, видел и бедняка, ее отца, которого она сама не помнила, просил ее не говорить об этом никому, и она молчала, держала слово.

– Аксентий Данилыч, голубчик! – сказала она ему однажды, сидя с ним на крыльце и гадая ему в карты, – я все вам скажу, про все загадаю, только сослужите мне службу!

– Какую?

– Помогите мне уйти к отцу Павладию или известите его, дайте мне воротиться к нему! – шептала Оксана, оглядываясь.

Шкатулкин на это громко расхохотался, так и залился колокольчиком.

– Ах, вы шалунья, барышня! Да разве это возможно-с? Да меня полковник за вас щелчком, одним махом порешит-с! Что вы! Да я ему предан... я ему предан, как отцу родному. Куда! сказать правду, и родному отцу-то я вряд ли был бы так предан.

Оксана смиряла пылкие надежды, просила ей хоть огурчика тайком пронести, селедочки: ей начинало что-то жечь под ложечкой! голова все кружилась. Аксентий на это усмехнулся, смекая о близкой радости полковника. Зато в другой раз сам Аксентий заводил такую речь:

– Барышня, а барышня!

– Что?

– У меня тоже к вам дело есть...

– Какое?

Это было в воскресенье. Самойле и Аксентию барином было поручено свозить Оксану в соседнюю греческую деревушку, в церковь, куда почти никто из православных помещиков не заворачивал. Она давно просилась у полковника помолиться. Верные слуги исполнили приказ в точности. Освежили пленницу прогулкой и дали ей вместе с тем помолиться. Аксентий вошел с ней в церковь, дал ей сделать три поклона, поцеловать образ, прочесть молитву и вывел ее обратно, «Будет-с!» – «А как крикнула бы я в церкви?» – шутила дорогою Оксана. «Э, вы не заметили, там наши батраки были... барин и об этом распорядился...»

Итак, Оксана спросила у Шкатулкина, какое же у него к ней дело. Они ехали в коляске. Самойло сидел на козлах, а Шкатулкин рядом с Оксаной внутри экипажа. Они говорили шепотом.

– Вы вот меня все за старика считаете, барышня, а у меня душа молодая. Мне жаль вас, очень жаль, барышня! Скажите: что если бы настоящий-то... ваш милый, Левенчук, что ли, он вдруг явился бы к вам?

Оксана побледнела и чуть не вскрикнула. Аксентий ее вовремя остановил.

– Любите ли вы его по-прежнему, барышня, своего-то дружка настоящего, мужика-то, нашего брата? Любите? Или вы совсем...

– Не мучьте моего сердца, Аксентий Данилыч...

– Да скажите, любите? Или вы от барина уж не отстали бы?

Оксана склонилась на грудь, руки ее упали, слезы выступили из глаз.

– Люблю... я-то люблю Левенчука... да только в глаза-то ему как я теперь посмотрела бы?.. И как он теперь меня захотел бы вызволить?..

– В глаза? Он-то? Да!

Аксентий посвистал будто про себя.

– Как вы, а я бы еще сызначала штуку барину бы сделал...

– Какую?

Аксентий ничего не ответил.

– Грех вам, дядюшка! Вы думаете, что я охотой...

Оксана залилась слезами.

Лошади добежали уже к хутору. Оставалось версты две.

– Дядюшка! – шепнула судорожно Оксана.

– Что, мое сердце? Фу, какая вы антиресная!

– Что вам дать за волю-то мою?

– Чем заплатить-то мне?

– Да.

Аксентий склонился к ее уху:

– Коли бы у вас хоть миллион был, барышня, а я, значит, моего барина, распрдобрейшего Владимира Алексеича, ни за что бы не променял. Я пошутил-с! Будьте ему покорны во всем, аки я сам раб, смерд-смердящий, верен ему! Это вам-с мой совет.

Подъезжая к воротам, Шкатулкин сказал опять:

– Вы обо всем, что я вам говорил, ни гу-гу. Слышите?

– О! я-то никому...

– То-то же, барышня, а то ведь я и ножом пырну! Скажете – я, значит, пропал, а меня не замай – в острог-то не хочется...

Аксентий ловко отворотил конец рукава и за лацканом показал нож. Оксана помертвела.

– Это-с я всегда про запас ношу. А вы будто ни про что и не слышали. Я здесь чужой, и вы чужие-с... Выдадите про мои лишние с вами разговоры, ведь ничего не выиграете. Пожалуйста-с ручку, сударыня, приехали! Миль-пардон! – добавил он громко, уже у крыльца.

Ловко выпрыгнув из коляски, Аксентий свел Оксану еще ловче по ступеньке наземь, потом в сени.

– Вам бы нашей барыней быть, повелительницей, полковницей! – весело заключил он, снимая шляпу с кокардой, когда Оксана в яркой алой клетчатой юбке и в дорогом платке и монистах входила с крыльца в сени. Полковник начинал одевать ее шегольски.

– Лошадей выпрячь, да и выводить получше! – крикнул между тем полковник из окна кучеру, не без радости подхватя на лету слова Шкатулкина и самодовольно любуясь соблазнительною красотой Оксаны, ее здоровым полным станом, густыми русыми косами, побледневшим и слегка захудалым лицом, слегка впалыми томными глазами, и этим живописным украинским нарядом, шитою пестрыми шелками сорочкой, монистами и яркою алою клетчатую юбкой.

«О! теперь я за нее спокоен, она не убежит! – решил в восторге полковник, провожая глазами шегольскую четверню любимых лошадей, удалявшихся в мыле и в пене к конюшне. – Вот я поеду на торги, пшеницу продавать в Бердянск, и ее возьму, в театр повезу, еще платьев ей понаделаю. Наряды кого не соблазнят!.. Да, кажется, она уже и беременная... Все в ней хорошо; пыли только этого нет; какая-то вялая будто, тихая да молчаливая...»

Где-то у кого-то при каком-то разговоре у Панчуковского завязался спор о преданности владельцам крепостных дворовых. Полковник доказывал, что верность и честь – принадлежность одних людей благородной крови, что если есть звери породистые, то есть и люди породистые, люди белой кости.

– Я, господа, демократ в душе; но кровь, лучшие предания человеческой семьи – это такие вещи, такие, что я...

– Ах, полковник, ваша правда! – перебила его соседка Щелкова, протискивая свой чепец и свой чубук в кружок, по обычаю обступивший местного Токвиля, – я вам расскажу свежий пример...

– Какой? Какой? – спросили слушатели.

– На днях я ездила к золовке моей, за Дон. На одной из этих скверных донских станций собралась огромная толпа проезжающих. Куча всяких подорожных лежала на столе, а лошадей никому не давали, – ждали какое-то важное лицо третьи сутки...

– Это ужас, ужас! Вот наши почты! вот злоупотребления...

– Не в том дело, – сказала Щелкова, – а вот в чем. Тут же сидела, скучая, одна почтенная и премилая дама, помещица из России. Она молчала, ни с кем не вступала в знакомство, вся в черном, и маленькая дочь с нею. Ее поразило необычайное происшествие: крепостной слуга ее мужа – кажется, покойного уже – мальчик лет двадцати пяти, на которого она возложила в пути все свои нужды, все чемоданы и ключи ему сдала, – этот мальчик, пользуясь хорошей погодой – а погода тогда стояла чудная, – выходил часто за ворота и на крыльцо станции... все смотрел вдаль, я сама это замечала, будто дивился нашим местам; еще подслеповатый такой был и как будто загнанный, скучный, смотрел-смотрел...

– Ну-с, ну?

– Да как был в одном сюртучишке и замасленном картузе, – и дал тягу в степи, пропал без вести.

– Это ужас! – шептали дамы.

– Какая же причина? – допрашивали мужчины.

– Гм! простая-с! – злобно и вместе насмешливо ответила, кашляя, Щелкова, – очень простая, как же вы не догадались! Уж это у нас народец такой, не вези его сюда! Как приехал, поставил нос по ветру, почуял волю – и драло! И край-то здесь, упаси господи! Мне что! Я больше вольными работаю; да где денег-то взять, где взять их нам, горемычным?

– Что же, нашли этого лакея?

– Куда вам его тут найти! И бежал-то он, как говорят, потому, что через барыню ожидал попасть в чужие знакомые руки. Так на станции ямщики после толковали.

– Барыня же это кто такая?

– Перепелицына. Я в подорожной смотрела, Перепелицына из Моршанска.

Панчуковский чуть не уронил стакана с чаем, бывшего у него в руке, и едва мог скрыть волнение, охватившее его при этой вести.

– Как вы сказали? – отнесся он, сколь мог свободно, к Щелковой.

– Перепелицына-с... Так мне сказали, и в подорожной так прописано.

– Где же она теперь?

– В Севастополь, что ли, на могилу мужа, кажется, поехала.

– А мальчик?

– О нем она становому послала объявление и сильно-сильно была стеснена его бегством. Он, впрочем, ее не обокрал, и она его очень любила.

– Местечки-с! – насмешливо завершил этот разговор полковник.

После обедни у отца Павладия в одно воскресенье сидел в гостях причт другой вновь устроенной соседней церкви.

– Вы слышали, батюшка? – передавали весть Щелковой услужливые собеседники, – тут возле, по донскому тракту, ехала помещица, и ее лакей на дороге бросил?

– Нет, не слышал. Куда же она сама-то ехала?

– В Севастополь, что ли, – ответил соседний пономарь.

– Что вы, что вы! В нашем уезде, в нашем городе уже живет, поселилась и квартиру у моей тещи наняла! – возразил дьякон.

– Зачем же это она приехала? – спросил отец Павладий.

– По делам. Никого не принимает, живет тихо, в церковь только ходит к отцу Анисиму и, кажется, очень скучная. К дочке учителя искала.

– А лакей ее?..

– Так и пропал без вести; ключи от чемоданов унес, должно быть, по ошибке, а вещей ничего не тронул.

– А!

Панчуковский, неведомо ни для кого, нанял у колониста за Мертвою фургон и поехал за Дон. Там он легко нашел станового, которого имя узнал от Щелковой, явился к нему, будто бы от лица помещицы, у которой сбежал слуга, назвался чужим именем, предложил становому малую толику за справку, получил доступ к его переписке и с худо скрываемым трепетом сел читать объявление Перепелицыной о слуге. Становой, обрадованный в своей глуши неожиданно упавшею с неба манною, толкал из приемной своих грязных ребятишек, извинялся, что жена его нечесаная попалась гостю на крыльце, и передавал какие-то новые политические слухи.

Панчуковский впивался глазами в каждую строку простого, по-видимому, и незамысловатого объявления. Из последнего только, кажется, и можно было узнать, что вот бежал лакей Петрушка Козырь, а приметы ему такие-то, то есть почти никаких, как водится.

– Уж и край! – проговорил становой, как видно начитанный и литературно натертый малый, – вон этого зовут Петрушкой! Да если бы сюда Чичиков из «Мертвых душ» заехал, и его бы, кажется, Петрушка тут от него бежал, почуяв здешнюю волю, о которой они там на севере-с и не предполагают...

Панчуковский, увидев в бледном и смиренном, по-видимому, становом такие литературные занозинки, сдвинул брови, и, как ни занят был другими мыслями, резко спросил:

– Вы где учились?

– Из здешней войсковой-с гимназии исключен-с за стихи на инспектора классов-с.

– Гм! Когда же у вас времени хватает здесь за службой еще книжки читать?

– Находим-с. А вы тоже любитель просвещения?

– О да! да!

– И у вас книжки хорошие есть? Вот если бы почитать! Здесь один ученый журналист недавно проезжал на Тамань. Я узнал о его проезде через мой участок и тридцать пять верст за ним гнался, чтобы только увидеть его.

Панчуковский кашлянул, ничего не ответил и, кусая до крови ногти, опять стал перечитывать бумагу. Он встал, начал надевать перчатки.

– Куда же эта барыня проехала?

– Не знаю-с.

– Слугу не нашли?

– Где их тут найти! Помилуйте! У нас тысячи, десятки тысяч таких дел о беглых...

Панчуковский вышел на крыльцо.

– Одно могу сказать, – прибавил становой, в мундирном сюртучке сбегая с крыльца к фургону, – я стал вносить дело об этом-то Петрушке Козыре в опись да по алфавиту наткнулся на дело еще другого Козыря... Последнее тянется уже лет десять и много становых на нем сменилось; оно об одном лакее, которого зарезал какой-то косарь; и этого лакея тоже звали Козырем – он при смерти так объявил в больнице, где умер...

– Прощайте!

– Прощайте-с.

Панчуковский уехал, не дослушав последних объяснений станового. Его занимали другие мысли.

Становилась настоящая осень.

– Что, сударь, вы не поохотились бы теперь на зайчиков да лисичек? – спросил утром полковника новый его камердинер, Аксентий Шкатулкин, по своему обычаю весело посмеиваясь перед барином, виляя добродушною и смазливою, хотя уже с седоватыми усами, мордочкой и играя живыми подвижными глазками. Он бережно и степенно одевал ноги полковника в сапоги, а полковник лежал на диване в халате и лениво раскидывал мыслями: что ему в тот день делать? На душе его было светло-светло.

Полковник молчал. Солнце чуть глядело в окно. Камердинер снова заговорил:

– Я спрашиваю, сударь, не манит ли вас теперь поохотиться с собачками или хоть с ружьем? Деньки вот бывают уж серые, мороз морозит, туманчики в поле прохладные переливаются-с! Вот бы в степь-то... а?

– А ты разве охотник? Тише надевай чулки: там мозоль вон есть.

– Был когда-то-с я и в охотниках! Был, да мало ли еще чем я не был.

Шкатулкин вздохнул.

– Ты откуда бежал?

– Из-за Полтавы-с... Не верите? Ей-же-ей, не лгу!..

– И давно?

– Да лет десять-девять будет-с.

– Ну, скажи же ты мне, Аксентий, да по правде: где ты все это время бурлачил?

Аксентий умильно улыбнулся, кашлянул, сложил на руках платье полковника, стал в вежливую, вместе почтительную и шаловливую, картинку, губы сдвинул еще добродушнее, глаза окружил беловатыми, кроткими, смеющимися морщинками, брови насупил, вздохнул опять и ответил:

– Извольте, сударь, спрашивайте!

– Где ты был, я повторяю, за все эти девять, что ли, лет твоего побега?

– Везде был понемногу: где ночь, а где день, а где и того меньше.

– Так все бурлаки отвечают, а ты мне скажи по душе...

Аксентий засмеялся и глянул в сторону.

– Извольте. Спрашивайте опять, еще подробнее! – сказал он, шагнувши к полковнику ближе и опять свертываясь руками, ногами, головой и всем телом в ту же услужливую, любезную и вместе добродушную картинку, – я вам все открою-с, все... Ну-с?

– Я тебя будто видел где... Будто ты у меня когда-то или работал, или просился работать? Я что-то, братец, помню тебя...

– А может быть! Нет, барин, нет. Я вас вижу впервые. Везде перебивал я в этом краю-с, а у вас не был! Был я и в Киеве, и в Житомире-с, и в Умани, и в Одессе, и в Пятигорске-с, а у вас не был, ей-же-богу-с, не был! Что вы! Разве мне лгать?

Панчуковский зевнул.

– Чем же ты промышлял в бурлаках, до поры, как нанялся у Шульцвейна? Расскажи, брат, от скуки.

Аксентий опять кашлянул.

– Да не знаю, как вам и сказать-то...

– А что?

– Видите ли, сударь, вы холостой, вам можно сказать: господа это называют клубничкой-с! Я охотник, видите ли, до бабочек-с; люблю-с этот хруст...

Панчуковский, не ожидавший такого ответа, сам прыснул со смеху.

– Как, как? Ах ты, шутник, что отмочил!

– Ей-богу-с! Я большой-с ходок по женским делам-с! Всю мою жизнь, можно сказать, на это потратил; видите ли, откровенно вам говорю: в ума помрачение впадал. И нет тут села, городишка, где бы я свиных дорожек к красоткам не топтал... Вот и седина уж пошла в усы и в бакены-с...

– Э, да ты мне находка, Аксентий! Я сам, братец, как видишь, любитель. С покойным Абдулкой мы многие дела решали. По правде, жаль его. Тут была у нас история из-за одной горожанки... Он мне тогда очень помог, и я этого никогда не забуду.

– Да-с, слышал-с; тут и градоначальник, кажись, сердился?

– Так ты все знаешь?

– Как не знать-с. А теперь зато, ух, славная, сударь, девочка у вас от попа. Мы про нее еще у Шутовкина слышали. Я и у него работал-с: он тоже ходок...

– Да ты у меня смотри, однако, Аксентий, ее не отбей! Ты еще мне рога наставишь! – шутливо заметил полковник.

– Как можно, сударь! Я дела-то эти знаю-с. У меня тоже барин в России был-с, и я был ему тоже вернейшим холопом, рабом по гроб моей жизни-с. Меня и они по этим-то историям-с наряжали. И скажу вам, у барина моего все толстухи были, пудов по восьми-с, по десяти... Да что-с? я и здешнему исправнику-с, господину Подкованцеву, одну гречанку поставил, девицу неизмеримую-с, сущую королеву Бобелину-с...

– Так ты и Подкованцева знаешь?

– Служил им тоже недели две. Уж без этого нам, беглым, нельзя-с. А господин исправник здешний – сущий отец нам, бурлакам-с; без него наше царство пало бы-с. Ведь мы народ-с иной: по натуре своей живем. Ну, и бывают приключения; когда разгуляешься очень, непотребность какую сделаешь, он-то и вспорет, а велит у себя отслужить – и дело с концом. Далеко не тянет. А то иной раз продуется он с господами морскими офицерами в карты и прямо уж нам скажет: эйн вениг аржанчика¹⁸, братцы-бурлаки, – это, значит, деньжат дай ему малую толику...

– И вы даете?

– Даем; как не дать! На то он наш отец-командир. Без него и невода-с по всему здешнему вольному поморью, и донские гирла, да и ваши, сударь, степные-то, вновь поселенные, хутора опустели бы. Что птицы вольные, так и мы, бродяги, любим волю; не тесни нас только, а мы от работы не бежим!

– А правда, Шкатулкин, что в донских гирлах, в камышах и возле Нахичевани беглые стали теперь паспорта печатать и всем раздают, а недавно стали и ассигнации стряпать? Как бы поживиться, братец, разменять этак сотенку-другую трехрублевых на ваши сторублевые?

Шкатулкин побледнел. Панчуковский этого не заметил.

– Не знаю, сударь, я по этой части не ходок-с... Мое дело сапожки почистить, коней или верблюдов напоить, в саду состоять. Как в старину, вон, шляхта говорила: «Кульбачить коня и хендожить буты». Вы – барин добрый, мы вас знаем; вы нас покрываете, содержите, и я бы вам сказал, да ничего не знаю... Чтоб мне почернеть, как та мать сырая земля, коли я что про это знаю.

Так объяснялся с полковником Милороденко-Шкатулкин, которого в то время именно земские власти разыскивали как одного из коноводов нахичеванской шайки фальшивых монетчиков и делателей паспортов.

– На всякий, однако, случай, сударь, чтобы наш отец-командир господин Подкованцев не придрался к вам когда-нибудь за меня, то вот вам и мой билет.

Он достал из бокового кармана пачку бумаг, лизнул палец, отделил не без труда из них новенький паспорт и подал его полковнику.

Панчуковский покрутил носом и усмехнулся.

– Знакомое дело! – сказал он. – Зачем ты мне это даешь? Ведь я же знаю, что это не твой билет. Вон и подпись какого-то городничего, прямо несообразная.

– Как несообразная? это как-с?

– Да ясно – фальшивая, братец, и все тут!

– Нужды нет; держите. Я уж вам отслужу... И то я с вас против паспортных да вольных вполтину договорил жалованье!

Полковник взял билет, умылся, оделся, причесался и пошел наверх к Оксане. Пленница в эти дни уже не так строго содержалась. Она и по двору ходила, и в поле одна ездила с кучером в дрожках кататься.

¹⁸ Немного денег.

Оксана особенно вдруг стихла и будто ожила, повеселела. Она заметно стала оправляться, а полковник начал невольно к ней привязываться. Заботы к ней и ласки становились без конца. Кроме Домахи, в услужение у нее показалась еще какая-то девочка. Оксана сидела наверху только днем, а комнату ей отвели уже рядом с кабинетом полковника.

Не успел полковник прийти к Оксане, пожурить ее за затворничество и свести, шутя и напевая, вниз, в кабинет, не успел он сесть на диван и посадить Оксану себе на колени, обнял ее и стал учить раскуривать папироску, – потайная дверь в одном из шкафов кабинета отворилась и из комнаты, отведенной Оксане, сквозь занавес просунулась любопытная голова Шкатулкина.

– Что тебе? надоед, братец! – сказал Панчуковский с досадой, что так нечаянно прервали его шалости с дамой его сердца.

Оксана вскочила и тихо отошла к окну.

– Извините, сударь, я не знал, что тут ходить нельзя, сквозь эти двери. Тронул задвижку, а она сама это – чик! и отворилась... Я сам даже испугался...

– Да зачем ты сюда пришел?

– Барышне, сударь, счастье послано-с, караван на верблюдах с виноградом пришел. Не купите ли-с? Свежий, преотличный!

– Ступай; я сейчас приду.

Шкатулкин вышел.

– Ты, Оксана, смотри, не бросай так ключа от твоей комнаты; не пропало бы что у тебя! Видишь, все уж ходят через нее и в мой кабинет...

– Нет, не буду бросать ключа; я забыла...

– Пойдем же виноград новый покупать.

Полковник и Оксана вышли на крылечко. Солнце к обеду выяснилось. Туманы исчезли, и день сверкал чудным последним осенним блеском.

У ворот толпился веселый люд, дворня и батраки. Ряд заманчивых, туго нагруженных крымскими плодами, двухколесных арб стоял под оградой. Высились двугорбые, длинноногие верблюды. Татары в низеньких шапочках суежились возле, вынимая напоказ синие и зеленые гроздья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.